

РАХМАНИНОВ



Сергей
Федякин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Сергей Федякин

Рахманинов

«ВЕБКНИГА»

2022

Федякин С. Р.

Рахманинов / С. Р. Федякин — «ВЕБКНИГА», 2022 — (Жизнь замечательных людей)

ISBN 978-5-235-04786-0

Книга о выдающемся музыканте XX века, чьё уникальное творчество (великий композитор, блестящий пианист, вдумчивый дирижёр) давно покорило материки и народы, а громкая слава и популярность исполнительства могут соперничать лишь с мировой славой П. И. Чайковского. «Странствующий музыкант» – так с юности повторял Сергей Рахманинов. Бесприютное детство, нестроенная жизнь, скитания из дома в дом: Зверев, Сатины, временное пристанище у друзей, комнаты внаём. Те же скитания и внутри личной жизни. На чужбине он как будто напроорочил сам себе знакомое поприще – стал скитальцем, странствующим музыкантом, который принёс с собой русский мелос и русскую душу, без которых не мог сочинять. Судьба отечества не могла не задевать его «заграничной жизни». Помощь русским по всему миру, посылки нуждающимся, пожертвования на оборону и Красную армию – всех благодеяний музыканта не перечислить. Но главное – музыка Рахманинова поддерживала людские души. Соединяя их в годы беды и победы, автор книги сумел ёмко и выразительно воссоздать образ музыканта и Человека с большой буквы.

ISBN 978-5-235-04786-0

© Федякин С. Р., 2022

© ВЕБКНИГА, 2022

Содержание

Вместо вступления	7
Часть первая	8
Глава первая	8
1. Сквозь лики преданий	8
2. Петербургский сорвиголова	13
Глава вторая	17
1. Среди «зверят»	17
2. Необыкновенное лето	26
3. От Первого концерта до «Алеко»	30
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Сергей Федякин

Рахманинов

*Светлой памяти моих родителей
Романа Васильевича и Александры Афанасьевны*



Жизнь замечательных людей



ВЫПУСК

2149

(1949)

Издание третье

Автор благодарит за предоставленные материалы Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Музей-усадьбу С. В. Рахманинова «Ивановка», сотрудников библиотеки Литературного института и библиотеки Дома русского

зарубежья имени А. И. Солженицына, а также лично Елену Викторовну Антонову, Веру Валерьевну Владимирову, Анастасию Георгиевну Гачеву, Станислава Бемовича Джимбинова, Андрея Петровича Дмитриева, Александра Ивановича Ермакова, Сергея Николаевича Лебедева, Ольгу Сергеевну Лебедеву, Николая Георгиевича Мельникова, Александра Николаевича Николюкина, Екатерину Юрьевну Новикову, Юрия Николаевича Поведского, Леонида Алексеевича Соколова, Елену Максимовну Трубилову, Василия Романовича Федякина.



© Федякин С. Р., 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022

Вместо вступления

Есть пустынное кладбище неподалёку от Нью-Йорка. Поезд до станции с названием «Валхалла» идёт не более часа. И если повезёт встретить в этом небольшом городке знакомого человека, что случается не так уж часто, он укажет, как добраться до нужного места.

Два каменных столба по сторонам дороги. Вход в парк. Деревья, лужайки, цветы... Здесь стоит небывалая тишина. Попадаются плиты в траве, иногда – ряды памятников, и если бы не они, то вряд ли в голову придёт, что это и есть кладбище Кенсико.

Идти приходится долго, поднимаясь вверх. Место возвышенное, всё недвижимо, хотя и нет чувства умиротворения. Ограда из хвойных вечнозелёных кустов окружает могилу. Две мраморные скамейки стоят по обеим её сторонам. Чуть пошевеливаются ветви сирени, посаженной полвека назад. Высится осьмиконечный крест из серого камня. На нём выбита надпись:

SERGEI RACHMANINOFF

APRIL 2. 1873 – MARCH 28. 1943.

Рядом с композитором вечный покой нашли его жена, Наталья Александровна, и дочь, Ирина Волконская. Осенью на плиты с именами и выбитыми на них крестами ветер несёт кленовые листья с дерева, что стоит поблизости.

Чужое небо раскинулось над головой. Чужая земля приютила его и его близких. Правда, гроб в земле цинковый – на тот случай, если прах когда-нибудь отправится на родину.

Здесь, в Кенсико, просторно и воздух прозрачен. Но не так, как в России. Лужайки подстрижены, встречаются озёрца, по ним скользят утки. Местами белеют прямоугольные памятные плиты. Кустарник то идёт ровными, приземистыми рядами, то стоит аккуратными пирамидками. Деревья раскидистые, но кривизна ветвей и стволов напоминает растительность южную.

Душа композитора отзывалась бы на совсем иные виды. Или – на тамбовские степи с перелесками, нагретые солнцем, с полынным запахом. Или – на берега Волхова и густые леса Онега.

Когда композитор жил в Америке, он вспоминал новгородские земли, изрезанные реками и речками, с заливными лугами. Вспоминал и озеро Ильмень, его неоглядный простор, каменистый берег с травой, синевато-серые волны под небом с белоснежными кучевыми облаками. Вспоминал и монастыри, разбросанные вокруг Новгорода...

Некогда Сергей Васильевич Рахманинов высказал заветное желание, чтобы в день его отпевания прозвучала музыка из им написанной «Всенощной». Голоса в хоре, что напоминают колокольные созвучия, и чистая печаль тенора: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...»

Есть в этом песнопении что-то особенно проникновенное – само соприкосновение души человеческой с Вечностью.

Но провожали усопшего под обычные погребальные песнопения. Время было беспокойное – шёл 1943 год. Ко дню упокоения найти хор, способный быстро разучить это произведение, вряд ли было возможно. Пожелание Рахманинова осталось жить в мире земном как его заповедь. Оно тоже стало частью его судьбы – необыкновенной, трагической, легендарной...

Часть первая

Глава первая Ранние годы

1. Сквозь лики преданий

Начало биографии композитора – почти поверье. Оно – как вступление к музыкальному произведению. Сквозь дымку столетий проглядывают свои «темы»: имена властителей, их преемников, столкновения с соседними царствами, те испытания, что насылает на людей и народы история и от которых не уберечься. «...Род Рахманиновых ведёт, вероятно, своё начало от молдавских господарей Драгош...» – говорит один из самых близких и преданных композитору людей¹.

В этом «вероятно» – первое из тех сомнений, которые опутывают биографию одного из самых ярких и пронзительных музыкантов XX века. Что можем мы разглядеть в далях времён?

Штефан Великий, господарь Молдавский, вступил на трон, когда его княжество платило дань Османской империи, а покинул земной мир, оставив крепкое, независимое государство. Ради укрепления Молдавии он отдал дочь в жёны сыну великого князя Московского Иоанна III. Сюжет этот различим в истории двух государств. Но для истории рода значимым становится то, что в музыке назвали бы темой «побочной»: *«После смерти Стефана престол Молдавии перешёл к его старшему сыну – Богдану, а младший сын, Иван, не захотевший быть под началом брата, переехал с семьёй в Москву. Это произошло, по-видимому, около 1490–1491 года. Сестра Ивана, Елена, в это время овдовела, и малолетний сын её и Ивана Младого, Дмитрий был объявлен наследником Московского престола»*.

Штефан знал: по его кончине на трон взойдёт старший сын, Богдан. Младшему, Ивану, наказал слушаться старшего, почему тот и получил прозвание «Вечин» – почти то же, что «крепостной». Мог ли знать Штефан Великий, что Иван не пожелает жить под началом брата-господаря, Богдана Кривого? Что отправится он по следу сестры, в далёкую Московию? Что там попадёт в опалу? Не то потому, что прибудет туда без разрешения великого князя, не то благодаря злонамеренным стараниям Софьи Палеолог, молодой супруги Иоанна III.

Снова трепещет сомнение. История на одни вопросы наслаивает другие.

Доблестный сын великого князя Московского от первого брака, Иван Молодой, умер внезапно. Был отравлен? Вдова его, Елена Волошанка, и сын её, Дмитрий, были сосланы в Углич. Туда же последует и прибывший из Молдавии брат Елены, Иван Вечин. Сын последнего, Василий Иванович, будет прозван Рахманин. И здесь неясность, зыбь несхожих смыслов. «Рахманин» – «весёлый», «говорливый» для вятичей и костромичей. Но для нижегородцев и жителей Тамбова – «вялый, скучный». Отец Рахманинова, Василий Аркадьевич, был человек необычайно весёлого нрава, но сам композитор часто представлял перед другими человеком сумрачным, знал он и времена крайней апатии.

Василий Рахманин, его сын Иван Рахманинов и далее – длинная цепь, упрочившая фамилию: Иван сын Ивана – Михаил – Кузьма – Иев – Герасим – Александр – Аркадий... За перечнем имён – русская история: поход с Иваном IV Грозным к Полоцку, возведение на престол дочери Петра Великого Елизаветы. И те же имена – ветвление родового дерева, поместья в рязанских землях, потом – и в тамбовских...

Древность рода... Как чувство причастности к истории является ребёнку? Слышит что-то от взрослых? Или однажды видит изображение – рыцарский шлем с плюмажем, орлиные крылья, щит, перекрещенные копыта – и вдруг, внушением неведомой силы, узнаёт свой герб? Или – быть может – чувствует какое-то веяние и что-то большое, огромное входит в маленькую жизнь? Впрочем, от родовых преданий всегда остаются только неясные контуры. Взрослый Рахманинов знал о своём происхождении, но ведал ли подробности?

...Герасим Рахманинов по выходе в отставку прикупит Знаменское. Название будет позже мелькать в биографии композитора. Александр Герасимович оставит по себе память как человек *«с открытым и благородным характером»*, красивый и добрый. *«Он умер рано (не дожив и до тридцати лет), став жертвой собственного великодушия при спасении замерзающего в степях Тамбовской губернии человека»*.

Александр Герасимович любил музыку, играл на скрипке. Редкий музыкальный дар вольётся в рахманиновскую кровь и от его жены, Марии Аркадьевны, урождённой Бахметьевой. По смерти мужа она выйдет замуж вторично. Внуки её побаивались – женщиной она была строгой, – но игру её слушали не без благоговения. За роялем сидела она изумительно прямо, и такой посадки требовала и от детей, и от внуков.

Аркадий Александрович Рахманинов, её сын и дедушка композитора, вписался в военные традиции рода участием в турецком походе. Но душой жил в музыке. Был он, хотя и не долго, учеником знаменитого петербургского педагога Джона Фильда. Сочинял – и в большом количестве – пьесы для фортепиано и романсы. Рано вышел в отставку. Вместо артистической карьеры ждали его семейная жизнь в Знаменском, хлопоты по хозяйству – занятие, которое только тяготило, – и участие в многочисленных концертах в Тамбове или Москве. Жёну свою, Варвару Васильевну, урождённую Павлову, нежно любил. Была она женщиной доброй, умной, весьма образованной. И даже состояла в переписке с поэтом Жуковским.

От этого брака появилось девять человек детей. Любовь родителей отразится в их отношениях, и сиротливая душа Серёжи Рахманинова не раз найдёт ласковый приют у своих тётюшек.

Жизнь отца композитора, Василия Аркадьевича, была путаной и несколько бестолковой. Совсем молодым сражался на Кавказе, замиряя непокорного Шамиля, позже – служил в Варшаве в Гродненском гусарском полку. В характере его – под стать службе – было много гусарского: покучивал, легко кружил головы особам женского пола. Талантлив был чрезмерно, настолько, что разбазаривал дары свои то в нескончаемых фортепианных импровизациях, то в невероятнейших историях, якобы житейских, которым и сам, вживаясь в них, начинал верить. Один Бог ведает, каким образом судьба свела его с Любовью Петровной Бутаковой, девушкой замкнутой, с непростым характером. В музыкальных произведениях часто единое целое рождается из взаимодействия противоположных тем. В этом союзе такого симфонического целого не получилось.

* * *

По старому стилю Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта 1873 года, четвёртым ребёнком в семье. Уже были Елена, Софья, Владимир. Позже у четы Рахманиновых будут ещё дети: Варя умрёт младенцем, Аркадий явится последышем.

Сергея крестили только на тринадцатый день, 2 апреля. Возможно, была распутица. В метрической книге Дегтярёвской церкви осталась запись. О родителях: «Старорусского уезда усадьбы Семёнова помещик, отставной лейб-гвардии Гусарского полка штаб-ротмистр Василий Аркадьев сын Рахманинов и его законная жена Любовь Петровна Рахманинова, оба православные». Столь же подробно о воспитанниках: «Мировой судья 3-го участка Старорусского уезда отставной гвардии поручик Алексей Николаев сын Валков и Новгородского уезда

усадьбы Онеги помещика, отставного генерал-майора Петра Ивановича Бутакова жена Софья Александровна Бутакова»². Крёстными стали друг и сослуживец отца и Сережина бабушка по материнской линии.

Первые впечатления пришли ещё в Семёнове. Как их отделить от того, что будет происходить спустя несколько лет в Онеге?

«...Странно, но все мои детские воспоминания, хорошие и плохие, печальные и счастливые, так или иначе обязательно связаны с музыкой. Первые наказания, первые награды, которые радовали мою детскую душу, неизменно имели непосредственное отношение к музыке».

Признание композитора важно потому, что говорит и о врождённой музыкальности, и об особом восприятии мира. О Семёнове композитор никогда не вспоминал. Оно будто стёрлось из его памяти. И одноэтажный, деревянный дом на высоком цоколе, обшитый досками. И резной декор по всему фасаду: наличники, карнизы, балясины. И полукруглая терраса с тремя сходами, да ещё две похожие лестницы по торцам здания. Здесь он жил до четырёх лет, и что-то должно было запечатлеться в сознании. Но осталась только музыка.

Совсем маленьким он любил забиться в уголок и слушать. Отец играл замечательно – правда, больше импровизировал. А мать не только играла, но уже начинала учить своих детей. И первой была сестра Лёля. Мир звуков входил в душу Рахманинова с самых ранних лет.

В Онег семья переехала в 1877-м, по смерти её владельца, дедушки Петра Ивановича Бутакова. В названии имения было что-то певучее. Звук новгородских колоколов долетал сюда, совершенно преображая пространство: и берега, и ровное течение Волхова. Свои детские годы Рахманинов всегда связывал с этим местом – Онег.

Дом большой, обшитый тёсом. Мезонин смотрел окнами и на восток – на Волхов, – и на запад. Сюда, в верхние комнаты, селили гостей, сама же семья жила внизу. Типичная русская усадьба: фасад с колоннами, балкон, перила... Широкая лестница вела с балкона в сад. При доме, внизу, цветник.

В детские годы не ощущаешь, что это – «хозяйство». Чувствуешь только особый мир. Коровники, конюшни, каретная. Двор, что вымощен булыжником. Слив шёл посередине двора, и в дождь здесь неслись потоки воды. Колодец стоял с дощатой крышей, деревянное колесо с двумя ручками, поскрипывая, двигало ворот. Большие бадьи на цепях плакали, когда воду тянули вверх...

В Онеге росла живая изгородь – плотный ряд ёлок – вокруг дома и сада. Въезд в имение был выложен камнем. По сторонам дороги стояли липы, а между ними – акации. Аллея вела и к воде. Только здесь липы шли вперемишу с клёнами.

Маленький Рахманинов видел тот мир, к которому будет тянуться всю жизнь: яблони в саду, парк с дорожками, усыпанными гравием. Но если всю пестроту онежского пейзажа довести до символа, останется вековая ель, устремлённая ввысь, – любимица Серёжи, – и речная гладь Волхова с россыпью белой сирени на берегу³.

За внешним пейзажем можно почувствовать и что-то более важное – душу этого места. Знаток итальянской живописи и русской иконы, Павел Муратов, заметит однажды:

«География древнего русского искусства совсем иная, чем общая российская география. Москва – окраина. Ока – граница. Муром, Рязань и Калуга – пожалуй, самые вынесенные вперёд форпосты, да и то в Калужской губернии лишь случайны иконные места под Боровском, где поселения старообрядцев».

И мысленно очертив пространство, связанное с историей государства Российского, – «откуда есть и пошла русская земля», – назвав земли Киева, Волыни, Ростова, Владимира, Суздаля, Ярославля, он следом укажет и на самое заповедное место:

«Новгородская земля – вот земля наших древних искусств, и Новгород – бесспорная их столица. Она тянется из-за Пскова на север к Ладоге, на юг доходит до середины Тверской и

верха Смоленской губерний, на востоке приближается к самой Вологде и затем перекидывается колониями новгородцев на Двину, на Белое море, на Вятку, на Выгегду».

Новгород в биографии Рахманинова обретает значение символическое. Софийский бело-стенный собор с шлемовидными куполами. Самый большой, в центре, – золочёный, блестит под косыми лучами, остальные, металлические, матово отсвечивают. Позади – колокольня с часами, «часозвоня»; впереди – вытянутая звонница в пять окон. Детинец красного кирпича, с зубчатыми стенами, с бойницами, с круглыми и квадратными башнями, накрытыми островерхими шатрами. А рядом – низкий, травянисто-песчаный берег, кудрявые деревья, медленные воды Волхова. В неустойчивой ряби, штрихами, – отражения стен и башен. На кресте главного купола новгородской Софии – свинцовый голубь.

В детские годы, да и позже, он бывал здесь не раз. И не раз глаз его скользил по этим древностям: напротив Детинца, через Волхов, на другом берегу, – аркада Гостиного Двора, шлемовидные купола, луковки, островерхие шатры. Это Ярославово дворище и Торг, где церкви, как говорят в народе, «кустом стоят». Соборы и монастыри Новгорода часто видели Серёжу вместе с его бабушкой, Софьей Александровной Бутаковой. С ней он простаивал долгие службы, вслушиваясь в церковные песнопения.

...Детство тоже подобно преданию. Если смотреть с высоты прожитых лет на далёкие годы – та же размытость, тот же туман, и сквозь него – не вполне ясные очертания. Так – из дымки прошлого – возникает фигура гувернантки девочек, мадемуазель Дефер. Семья отправляется на прогулку. Дома остаётся Серёжа, он нездоров. Мальчик просит мадемуазель спеть «Жалобу девушки» Шуберта, её так любит его мать! И гувернантка поёт, мальчик аккомпанирует. Ручонки маленькие, полных аккордов музыкант брать не может, но зато – ни одной фальшивой ноты. «Жалобу девушки» исполнили три раза кряду, ребёнок просит не рассказывать родителям об их концерте. Мадемуазель поначалу молчит, но потом не выдерживает. Мать узнаёт о таланте сына, и скоро уже... дедушка Пётр Иванович Бутаков требует от родителей, чтобы ребёнку наняли учителя музыки.

Здесь странно всё. Год назван: 1880-й. Серёже семь лет, и у него уже не те ручонки, которыми можно умилиться. Быть может – ошибка в дате. Но, всего вероятнее, – та легенда, без которых редко обходятся биографии людей особо известных⁴. Естественнее было бы предположить, что ребёнку года три-четыре и что дедушка – другой, тот, что по линии отцовской. Тем более что с ним связана другая история.

Аркадий Александрович был и в самом деле великолепный музыкант. И в самом деле посетил семью своего сына. Они с внуком играли в четыре руки. Только вот вряд ли сонату Бетховена, как уверяет двоюродная сестра Сергея Васильевича, Анна Трубникова. Подробно-сти всегда вызывают доверие к рассказчику. В момент окончания бетховенской сонаты в комнату зашла бывшая кормилица Серёжи, просить соломы на починку крыши. Восклицание старого барина немало её удивило:

– Ты заслужила много больше за то, что выкормила мне такого внука!

В тот год Анны Трубниковой ещё не было на свете. Соната Бетховена, исполненная маленьким музыкантом, – плод воображения неизвестного нам лица. Мемуарист где-то услышал – и запечатлел в благоговении.

Реальность всегда прозаичнее легенд. И сам Рахманинов изобразит своё музицирование с дедом куда скромнее: «...Пока я играл ему простенькие, из пяти или шести нот, мелодии, он аккомпанировал мне, причём его аккомпанемент показался мне тогда красивым и невероятно трудным».

Эпизод с благословением деда часто затушёвывает иную картину, поразившую самого Серёжу. Перед приездом деда Любовь Петровна занялась руками сына: «подстригла и привела в порядок ногти». Тот урок, который запомнится навсегда: «Руки моей матери отличались

необыкновенной красотой: белые, холёные». За образом – трепетное осознание *священства* самого действия: чтобы играть, нужно следить за пальцами, за кистью, нужно *любить* их.

Сам композитор о детстве вспоминал немного. То, что припомнят другие, – и вовсе лишь отзвуки когда-то услышанного. Иногда в общую картину вплетаются непреклонные строки документа или вязкие выводы исследователей. Контрапункт голосов причудлив. Но незамысловатый сюжет сквозь него всё-таки прорисовывается.

Маленьким – часами сидел за фортепиано, с трудом отрывался от музыки, да и то, если того хотели родители. Успехи были слишком очевидны: «...помнится, уже в четыре года меня просили поиграть гостям». За игру получал конфеты, бумажные рубли, от чего приходил в восторг. Но и неприятные воспоминания связаны с музыкой: «В наказание же за скверное поведение меня сажали под рояль. Других детей в таких случаях ставят в угол. Сидеть под роялем было в высшей степени позорно и унижительно». Когда же в 1878-м мать взялась его учить, то уроки принесли «большое неудовольствие...»⁵.

И радость, и беда – всё это музыка. И всё же, чтобы музыка не просто вошла в жизнь, но стала самой жизнью, нужен был вдумчивый наставник.

...Новгородский графа Аракчеева кадетский корпус, где служили в своё время Пётр Иванович Бутаков и Дмитрий Николаевич Орнатский, располагался на реке Мете, в 28 верстах от Новгорода. Место было пустынное и довольно глухое. Здесь поневоле тянуло к общению. Так и подружались семьи Бутаковых и Орнатских. Любочка – единственный ребёнок у Петра Ивановича, она старше Ани Орнатской на четыре года. Но сдружилась с ней, как бывает дружат сёстры разного возраста. Жизнь разлучит их на время. И Люба станет не Бутаковой, а Рахманиновой, и Аня найдёт свой путь – в Петербургской консерватории её учителем будет профессор Кросс. В свой час её ждёт и серебряная медаль. Но чуть раньше придётся ей прервать учение – не для того ли, чтобы заработать денег на оплату? Тогда-то и переселится Анна Дмитриевна в Онег, став учителем музыки у Рахманиновых.

Всё совпало – и редкая удача с учителем, и конец безмятежного детства. Василий Аркадьевич часто бывал в отлучке, играл и проигрывал. Человек нрава весёлого, непосредственного, он не очень-то задумывался и о делах хозяйских. Имение приходило в упадок, семья шла к разорению. Любовь Петровна была женщиной суровой, молчаливой, замкнутой. Часто – раздражительной. Начинались ссоры, скандалы. Сергей Васильевич увидит драму семьи через десятилетия: «Мы, дети, больше любили отца. Это, наверное, было несправедливо по отношению к матери, но, поскольку отец обладал добрым и ласковым нравом, удивительным добродушием и сильно нас баловал, неудивительно, что наши детские сердца неудержимо тянулись именно к нему».

Дети выросли, пора было думать об их будущем, перебираться в город. Когда говорили о мальчиках, упоминался Пажеский корпус. Отец хотел своих сыновей видеть военными. Мать, думая о Серёже, говорила о консерватории. Анна Дмитриевна целиком была на её стороне, и можно предположить, что за своего ученика вступалась со всей горячностью.

Судьба сама распорядилась будущим. Семёново было представлено к продаже в 1877-м. Онег та же судьба постигнет чуть позже: объявление о продаже «за иск по закладной» опубликуют «Новгородские губернские ведомости» в 1880 году.

За подготовку Сергея к консерватории Орнатская принялась с особым пылом. Ей так и виделось: Серёжа окончит младшие классы и поступит к её учителю, профессору Кроссу. Денежные дела семьи были настолько расстроены, что Анна Дмитриевна взялась хлопотать для любимого ученика стипендию...

Не о том ли вспомнит композитор через многие годы, когда в нём запоют стихи Тютчева? «Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...» – романс «Весенние воды» будет

написан в 1896-м. Один из лучших его романсов. Его Рахманинов посвятит Анне Дмитриевне Орнатской.

2. Петербургский сорвиголова

Осень 1880-го. Семья Рахманиновых перебирается в Петербург. Позади – Онег с его просторами, Новгород с его палисадниками и тихими закоулками. Перед глазами – прямые улицы, набережные с чугунными решётками, дворцы, доходные дома... Множество людей, экипажей, городских, уличных продавцов... Всё это кричит, стучит, грохочет. И не важно, какой впервые Серёжа Рахманинов увидел столицу – озарённую солнцем или погружённую в дождь. В воздухе всё равно ощущалось то же, пушкинское:

Над омрачённым Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной...

Трагедия коснулась России в начале 1881-го. Не только ушли из жизни – один за другим – Достоевский, Николай Рубинштейн, Писемский, Мусоргский. Ранней весной взрывом бомбы убит император Александр II. С. временем на месте покушения возведут исторический символ – Спас на Крови. Первый камень ляжет в 1893-м, закончат строительство собора в 1907-м. Но история великой империи уже двинулась путём ужасов и катастроф: террор снизу – террор сверху, гибель царя, великих князей, градоначальников, и – бомбометателей...

Теперь исторический излом, переживаемый Россией, совпал с напастями, которые свалились на семью Рахманиновых.

...О петербургских годах композитора известно не так много. Какие-то клочковатые сведения, отдельные эпизоды. Но и за ними ощущается жизнь, полная невзгод. Размолвки между родителями всё чаще. Брат Владимир – в кадетском корпусе, сестра Елена – в пансионе. Сергей часто живёт у тёти, Марии Аркадьевны Трубниковой. Весной 1882-го трое детей – Володя, Серёжа, Соня – заболели дифтеритом. Выжили только мальчики. Сестрёнку композитор вспоминал и совсем взрослым.

Беда уже постучалась к Рахманиновым, но далее в тот год всё шло ещё вполне благополучно. 23 июля 1882 года Василий Аркадьевич составляет прошение, адресованное директору Санкт-Петербургской консерватории, а в сентябре Серёжа держит вступительные экзамены.

Музыкальные предметы он сдавал очень хорошо. Закон Божий, чтение, арифметику – несколько хуже. Зачислили его в «комплектные» учащиеся, и платить родителям приходилось только за обычные гимназические предметы по 50 рублей в месяц.

В первый консерваторский год ниточка судьбы юного дарования тянется более или менее ровно: ходит на занятия, выступает в концертах. Но далее начинаются узлы и зигзаги, и таких поворотов не ожидал никто.

Владимир Васильевич Демянский, учитель фортепиано, – наставник опытный и толковый. Из тех, кто стремится к каждому ученику найти особый подход⁶. Он всячески настаивал, чтобы ученики работали за инструментом постоянно. Учил отрабатывать произведение отрывок за отрывком, но так, чтобы за малым не терялось целое. Этому правилу Сергей Васильевич Рахманинов будет следовать и в зрелые, знаменитые свои годы.

Александр Иванович Рубец, большой, громкий человек, происходил из породы людей незаурядных. Некогда попал в консерваторию из судебных чиновников, двадцати четырёх лет от роду. Был принят за отличный вокал. Студентом обнаружил замечательный талант в области теории музыки. Он записывал народные песни, организовывал хоры, а его учебники стали незаменимым пособием для многих начинающих музыкантов.

И абсолютный слух, и ту лёгкость, с какой ученик выполняет задания по сольфеджио, Александр Иванович оценил сразу. Зачем столь талантливому мальчику сидеть в начальном классе? Не лучше ли сразу перевести его в класс гармонии? Дальше и начинаются «диссонансы».

Сразу скакнув выше на один курс, Серёжа ощутил себя в безвоздушном пространстве. Не зная азов, постигнуть теорию он не мог. Стал прогуливать занятия. Когда вернулся в класс сольфеджио, отвыкнуть от вольной жизни уже не мог.

Разлад в его консерваторских занятиях, разлад в семье. Пока никто не думал, что Любовь Петровна больна. О таких людях обычно говорят: «тяжёлый характер». До припадка – холодность, недовольство, ворчливость, после – вялость, слезливость. Василий Аркадьевич переносил истерические выходы супруги с трудом. Она – уходила в себя, иной раз забывая и о детях. Даже пожилым человеком Сергей Васильевич мог о матери вспомнить немного: когда ушёл отец, они вместе плакали.

Преданная подруга и наперсница маленького Рахманинова – бабушка, Софья Александровна. Но она в Петербурге бывала лишь наездами. Любил он и тётку, сестру отца, Марию Аркадьевну Трубникову. Довольно часто жил у неё. Образ Серёжи запомнится Оле Трубниковой, его двоюродной сестре. Вот она, шестилетка, выглядывает из кровати: что там делает её брат? И он начинает «пугать»: натягивает на голову простыню, подходит. Ей и страшно и радостно. Взвизгнув, она зарывается в подушки, слышит, как колотится сердце.

На воскресенье к Трубниковым приходил и второй Рахманинов, кадетик Володя. Стоило взрослым отправиться в гости, оставив детей под присмотром старой няни, начинался кавардак. Беготня, крики, грохот... Мальчишки залезали на стулья, на стол – и прыгали вниз. Качали свою двоюродную сестрёнку на одеяле. Додумались и до более опасных развлечений. Из обеденного стола вытаскивали доски, подставляли их наклонно к буфету и, как с горки, съезжали вниз. Однажды и малолетку Олю, чтобы доставить ей радость, спустили «с горы». Перепуганная няня только всплеснула руками: «Мучители! Сломаете ребёнку шею!»⁷

Серёжа рос сорванцом. И жил своей жизнью.

По пути в консерваторию частенько сворачивал на каток – звук коньков, полёт-скольжение – восторг! Но постоянное развлечение и на весь год – конка. Лошади тянут вагон, ими правит вагоновожатый. Запрыгнуть на подножку, когда конка разгоняется, когда кондуктор ещё далеко, – и мчаться. Вагон трясётся, дребезжит, по его содроганиям чувствуешь скорость... И соскочить нужно вовремя, пока городской не подоспел.

Развлечение было опасным: под конкой калечились, ломали руки, ноги. Серёжа соскакивал на полном ходу, не боясь угодить под другой экипаж. Зимой поручни покрывались льдом, подобные трюки становились ещё рискованнее.

Никто не знал о его проделках. Гроза разразилась зимой 1884-го, когда он завалил экзамены по общеобразовательным предметам. Любовь Петровна всполошилась. На счастье, именно в это время в Петербурге оказался Александр Ильич Зилоти – двоюродный брат Серёжи, сын Юлии Аркадьевны, урождённой Рахманиновой, – и уже известный пианист. Некогда Александр Ильич учился в Москве, у педагога Николая Сергеевича Зверева. Потом сделал блестящую карьеру. Был учеником Франца Листа. Концерты Зилоти имели успех. В 1884-м, вернувшись из заграницы, он побывал в старой столице у своего учителя. Поиграл в непридуманной домашней обстановке, ослепил зверевских учеников и виртуозностью, и блеском, и волшебным звучанием рояля. В декабре объявился в Питере...

От директора Петербургской консерватории, знаменитого виолончелиста Карла Юльевича Давыдова, Зилоти услышал: «Серёжа мальчик способный, но большой шалун». Поначалу Александр Ильич не хотел даже слушать игру двоюродного брата, но всё же склонился на просьбы матери.

Талант – необычайно редкий – был очевиден; совет, однако, был прост: наставить Серёжу на путь истинный может только такой педагог, как Зверев.

Прошло ещё полгода. На весенней сессии результаты маленького Рахманинова не улучшились. Тогда-то мать и решила, наконец, забрать сына из консерватории и воспользоваться советом и рекомендацией Александра Ильича.

...Эти странные, озорные и горькие годы всё-таки оставят и музыкальные впечатления. Связаны они будут с родными людьми.

О Елене, родной сестре, он и через десятилетия будет говорить с восхищением: «Она была удивительная девочка: красивая, умная, необычная и, несмотря на внешнюю хрупкость, обладающая поистине геркулесовой силой. Мы, мальчики, бывали потрясены, видя, как она играючи гнула пальцами серебряный рубль». Сводила с ума поклонников в свои шестнадцать-семнадцать. И маленький Серёжа с бабушкой обсуждали, насколько хорош или плох один, другой, третий, перебирая их достоинства и недостатки. Но кроме таланта нравиться, завораживать, был голос, необыкновенный голос. Она ни у кого не училась, умение пришло само собой. Серёжа слушал сестру – это несравненное контральто – с замиранием сердца. В исполнении Елены ему впервые открылся Чайковский.

Казалось, её ждало великое будущее. Она стала брать уроки, преподаватель настоял, чтобы Лёлю прослушали в Мариинском театре⁸. Когда спустя чуть ли не полвека композитор рассказывал биографу о сестре, его волнение ощущалось даже через возможные искажения памяти: «...Её голос и исполнение произвели там сенсацию. Елену немедленно ангажировали на сольные партии – честь, которой новички удостаивались чрезвычайно редко. Но, как я уже сказал, она не успела увидеть огни рампы».

Малокровие у девушки семнадцати лет – и смятение, пережитое братом: «Я помню жуткое чувство, которое испытал, когда она уколола палец и вместо крови из него потекла вода. Ей не довелось встретить свою восемнадцатую весну».

Другое сильное впечатление связано с бабушкой. Софья Александровна Бутакова в церковь брала и внука. Часами они стояли на службе – и в Петербурге, и, если летом, в Новгороде. Она усердно молилась, он слушал хор:

«Я всегда старался найти местечко под галереей и ловил каждый звук. Благодаря хорошей памяти я легко запоминал почти всё, что слышал. И в буквальном смысле слова превращал это в капитал: приходя домой, я садился за фортепиано и играл всё, что услышал. За эти концерты бабушка никогда не забывала наградить меня двадцатью пятью копейками – немалой суммой для мальчика десяти-одиннадцати лет».

Бабушка летом 1887-го купила небольшое имение Борисово, чтобы лето провести с внуком.

...Дом на берегу Волхова, неподалёку озеро Ильмень. Кругом леса, луга и поля. Три месяца полной свободы. В глазах деревенских мальчишек он – герой: настолько здорово плавал.

Серёжу не стесняли ничем: мог купаться, удить рыбу, в сумерки взять лодку и плыть вниз по течению – видеть медленный лёт цапель, слышать, как в камышах, поблизости, кричат дикие утки, а издали доносятся вечерние звоны Новгорода.

Часто запрягали коляску, внук вёз бабушку в соседний монастырь на службу. Он видел, как звонарь управляется с верёвками, слышал, как колокольный звон летит над землёй.

Бабушка иногда приглашала гостей или сама с внуком отправлялась нанести визит. Его ждало неизменное фортепиано. Замученный в консерватории этюдами Крамера, сонатинами Кулау и Диабелли, он начинал импровизировать, выдавая свои мимолётные композиции за сочинения Шопена или других известных композиторов. Знал, что публика у него невзыска-

тельная, знатоков нет, чувствовал себя за роялем вольготно и каждый раз срывал аплодисменты⁹.

В последнее лето перед отъездом в Москву пришла и печаль расставания. О будущем наставнике, профессоре Звереве, Рахманинов наслушался много неприятного: жёсткий режим дня, тяжёл на руку.

Перед самым отбытием Серёжа привёз бабушку в монастырь. Там отслужили прощальный молебен. Она дала денег, перекрестила и проводила на станцию. В серой курточке, которую бабушка для него сшила, с ранцем за плечами, Серёжа ждал. Софья Александровна купила билет до Москвы. Оба стояли подавленные. Она надела на внука ладанку, в которой лежали 100 рублей. Ему было тяжело и горько. Когда вагон дёрнулся и покатил, он заплакал.

Глава вторая Москва

1. Среди «зверят»

«Высокий, тонкий, с прямыми седыми волосами, как у Листа, и неожиданно чёрными густыми бровями на бритом лице» – таким запечатлел этого человека один из современников¹⁰.

Поговаривали, что старожилы-ученики ещё слышали Зверева-пианиста. Говорили о необыкновенно певучем звуке, помнили, сколь неотразимо исполнял он до-диез минорную сонату Бетховена. Теперь Зверев не играл. Но его знали как ученика Александра Дюбюка и Адольфа Гензельта, корифеев в области фортепианной педагогики. О личной жизни Николая Сергеевича знали мало. Да и сам он, похоже, не любил рассказывать о пережитом, как потерял ребёнка, как рано овдовел. О чиновничьей службе тоже особо не упоминал¹¹. На путь учительства подтолкнул его давний наставник, Александр Иванович Дюбюк. Он же и нашёл ему первых учеников.

Человек светский, Зверев хаживал в гости и принимал у себя. Жил на широкую ногу. За карточным столом отличался редким хладнокровием и к педагогическим заработкам нередко мог присовокупить и выигрыш. Что принесло Николаю Сергеевичу успех на новом поприще – талант преподавателя музыки, светская обходительность, изысканные манеры? Или – всё сразу, сам образ необыкновенного учителя? Стать его учеником непросто, цена уроков высока, авторитет незыблем – особенно в купеческой среде, откуда пришли первые его подопечные.

Музыкантики Николая Сергеевича всегда обращали на себя внимание. И когда открылась Московская консерватория, её основатель, Николай Рубинштейн, именно Звереву предложил должность преподавателя младших классов. Теперь необыкновенный учитель у себя дома – на полном пансионе – держал Леонида Максимова и Матвея Пресмана. Нельзя сказать, что воспитанники его жили и учились совсем бесплатно. Отец Пресмана одно время посылал кое-какие суммы. Но стоило Моте получить из дома письмо с печальным известием, что более нет средств, его наставник, пробежав послание и глядя в заплаканное лицо ученика, только качнёт головой:

– Чего ревёшь? Разве я когда-нибудь говорил твоему отцу о деньгах? Он посылал, сколько мог, теперь посылать не в состоянии. Ему об этом следовало написать мне, а не тебе. Будешь жить у меня по-прежнему.

Пансионеры не приносили дохода. Но он любил их показывать в домашних концертах. И если они играли с подъёмом, слушатели таяли от восхищения, а учитель приходил в доброе расположение духа.

Зверев был завален уроками. В восемь утра шёл на первое занятие. С девяти до двенадцати преподавал в консерватории. Потом опять ездил по частным урокам до самого вечера. И лишь после этого начиналась светская жизнь. Частенько учитель возвращался домой, когда его питомцы давно спали.

* * *

Москва встретила Серёжу неприветливо – дождём. Три дня он жил у тётки, Юлии Аркадьевны Зилоти. И... перебрался к знаменитому Звереву. Он быстро понял: «Слухи об исключительной строгости Зверева, которыми меня так напугали, оказались сущим вздором».

В Николае Сергеевиче Звереве уживались и деспот, и добряк, и сумасброд, и человек широкой души. Но воспитателем был строгим: его «зверята» вели жизнь маленьких спартанцев.

...Общая спальня, рояль один на троих. В шесть утра – за инструментом первый, через три часа – второй, ещё через три – следующий. Пока один долбит упражнения, остальные постигают иные науки. Утренние «смены» отрабатывали по очереди: вставать в такую рань непросто. А наставник требовал чёткости, терпеть не мог халтуры. Когда полусонный ученик играл вяло, невнятно, спотыкаясь, грозный учитель, в одном белье, появлялся в дверях. После окрика сон слетал мгновенно.

Но и без воспитателя распускаться не получалось. Если Зверев отсутствовал, за порядком следила его сестра, старенькая Анна Сергеевна – сразу и хозяйка и надзирательница. Стоило кому-нибудь из подопечных опоздать с началом занятия или встать из-за инструмента раньше, Николай Сергеевич вечером узнавал о провинности и спуску не давал.

Основные уроки проходили в консерватории. В технике «зверята» шли примерно «на равных», частенько разучивали одну и ту же пьесу. И для педагога удобно: один сыграет не так – другой поправит.

Особой педагогической системы Николай Сергеевич не имел – для выработки техники играли скучные этюды и упражнения. Но он давал главное: постановку рук. К игре напряжённой рукой относился беспощадно. Не оставлял вниманием и звук: играть музыкально – сразу, не «тараторить» пальцами, но вносить в исполнение живое дыхание. Если ученик начинал «врать», выходил из себя.

...В тот день игра не клеилась. И Пресман на всю жизнь запомнил злополучный Второй концерт Джона Фильда.

«Пришли к Звереву в консерваторию на урок. Сел играть Рахманинов. Вначале всё шло как будто гладко. Вдруг – стоп!

– Ты что это играешь? – крикнул Николай Сергеевич. – Сыграй вот это место ещё раз! – Рахманинов повторяет. – Опять врешь! Опять не так! Просчитай это место!...»

Рахманинова сменил Максимов. Когда дошёл до рокового такта, всё повторилось. Только Зверев в сердцах ещё двинул стул ногой, да так, что Лёля полетел со стула.

Мотя споткнулся на том же месте. Зверев был вне себя. Повёл учеников к Танееву:

– Потребую у директора, чтобы всех вас убрали из моего класса. Учитесь у кого хотите!..

Удручённые, они тянулись следом. Танеева в профессорской не оказалось. Зверев отлучился, велел ждать.

Сквозь дверные стёкла они смотрели на длинный, широкий коридор. Туда-сюда сновали ученики, поглядывали на них с любопытством. «Зверята» упорно рассматривали книги в шкафу, чувствовали себя неловко. И вдруг через предательское стекло увидели: их наставник, взбешённый, спускается по лестнице, а следом – понурый, руки по швам – сползает со ступеньки на ступеньку ещё один его ученик, Вильбушевич.

Они и сами испугались собственного хохота. Зверев обомлел, глядя на их нервный смех. Наконец рывкнул: «Вон отсюда!!!» И его подопечные стремглав бросились из кабинета.

Рахманинов, уже знаменитый музыкант, говорил о своём наставнике только хорошее: человек «редкого ума и огромной доброты». Да и ценили его люди замечательные: «Он оказался восторженным поклонником Достоевского, которого знал лично и чьи произведения изучал со всей серьёзностью».

Но и вспыльчивость Зверева была из ряда вон: «Когда он выходил из себя, то способен был наброситься на человека с кулаками и запустить в него чем попало; допуская, что в каких-то случаях он мог бы без колебаний убить своего противника».

Тумака ученик мог получить за дурно приготовленный урок («Сегодня лень снова привела мальчика к неприятностям»). Но и под горячую руку попадать не стоило. Рахманинов

припомнит не без улыбки: «Мне досталось от него тоже, четыре или пять раз, но в отличие от остальных не по “музыкальной” части».

Только на одного ученика Николай Сергеевич ни разу не повысил голоса. Тот появится в один из воскресных дней, маленький кадетик – тоненький и хрупкий. Звали его Александр Скрябин. Зверев скоро стал называть его ласково «Скрябушей», души в нём не чаял. Кадетик ходил, нервно потирая руки. Была у него и странная привычка – тремя пальцами руки проводить по вздёрнутому носику, будто он тянет его вниз. «Скрябуша» занимался только раз в неделю, но вперёд двигался стремительно. Привозил сразу несколько этюдов и пьес, играл по памяти, всегда отлично подготовленный¹². Зверев знал, как расшевелить своих питомцев, затронуть гордость, заставить подтянуться. Однажды после урока с кадетиком довольный Зверев широко распахнул двери гостиной и позвал своих мальчишек. Скрябин заиграл вариации Гайдна – продуманно, технично, совсем «по-взрослому». В другой раз они слышали 12 пьес Йенсена. Кадетик приготовил их всего за неделю, но как! И красота звука, и техника – из обла- сти невозможного¹³.

...Строгость и забота. Наставник относился к своим «зверьям» почти с отеческой любовью. Звал коротко, не «Лёля, Серёжа, Мотя», но «Лё, Се, Мо». Кормил, одевал. Чёрную гимназическую форму – брюки и китель со стоячим воротничком – заказывал у лучшего портного, который обшивал и самого Николая Сергеевича.

Учили их не только музыке. Из языков – французскому и немецкому. А в воскресенье они ездили на уроки танцев, в дом, где их ждали девицы, тоже ученицы Зверева.

Был у них и ещё один преподаватель. С этой пианисткой встречались два раза в неделю. На двух роялях играли в восемь рук Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана...

Не пропускали и премьер – в Большом и Малом. Видели известных актёров. Перед глазами «зверят» прошли и знаменитые европейцы – Сальвини, Росси, Барнай, Элеонора Дузе, – и свои: Ермолова, Южин, Ленский, Садовские...

Вчетвером занимали дорогую ложу в бельэтаже. Зверев присматривал... «Лё, Се, Мо» уже знали правила: не глазеть в бинокль на публику, не разговаривать громко, не хохотать. И если кто-то положит локти на барьер ложи, а то и упрётся в него подбородком, услышит отрывистое ворчание:

– Заодно уж и подушку бы на барьер положил! Я что, потому беру хорошие места, чтобы вы себя неприлично вели?

После концертов – обсуждали. Не только коротко: «понравилось – не понравилось». Наставник ждал объяснения: почему игра того или этого замечательна? И почему – бледновата?

Зверев учил их вести себя в обществе, поддерживать беседу. Отсеивал знакомых с дурными наклонностями, особенно его раздражали хвастуны и притворщики. Требовал забыть коньки, верховую езду и греблю, дабы случайно не повредить руки. Запретил разговаривать зимой после бани. Зато позволял брать любую книгу из собственной богатейшей библиотеки.

Однажды Рахманинов принялся за Достоевского, за «Бесов». Зверев пришёл рано в самом благодушном настроении. В гостиной сел за круглый стол рядом с питомцами. Вдруг повернулся к Сергею: «Ну, мой мальчик, что ты сегодня читал?.. М-да-а. Ты всё понял?.. Чудесно, друг мой. Принеси мне книгу».

Этот разговор композитор повторит биографу чуть ли не через полвека.

«– Ты помнишь это прекрасное место, где Кириллов высказывает свои идеи относительно смерти?

– Конечно, помню.

Он взял у меня книгу и открыл её на том месте, о котором говорил.

– Прочти, пожалуйста.

Я повиновался. Когда я кончил, он пристально взгляделся в меня, и лёгкая усмешка скользнула по его губам.

– А теперь, мой мальчик, расскажи мне о том, что ты прочёл.

Я начал было рассказывать, но с каждой фразой запутывался всё сильнее и сильнее. Кровь бросилась мне в голову, и я не мог воспроизвести или пересказать идеи Достоевского, которые, наверное, трудно было схватить в моём возрасте.

Не говоря ни слова, Зверев покачал головой».

Урок, который не забудешь: нужно не только *прочитать* произведение, но и *понять* его... Не только сюжет, события, но и глубинные «течения». Ведь идеи Кириллова – это не только мысли «сами по себе». Они живут в произведении, цепко связаны и с сюжетом, и с поведением других персонажей. Роман Достоевского подобен образно-смысловой «партитуре», он требует очень внимательного вчитывания. Вот что таилось и в этом покачивании головой, и в этой лёгкой усмешке.

День седьмой – или, по слову наставника, «отдохновение от трудов» – в неумолимый ритм повседневной работы вносит заметное разнообразие. Николай Сергеевич – гурман и хлебосол. Еда на столе – изысканная, публика за столом – тоже. Музыканты, актёры, писатели, адвокаты. Профессора консерватории – А. С. Аренский, С. И. Танеёв, П. А. Пабст, Н. Д. Кашкин. Когда бывал в Москве – заглядывал и А. И. Зилоти. Появлялись заезжие знаменитости. Наведывался и Чайковский.

Трое мальчишек сидели рядом, за тем же столом. После еды, когда готовились карточные столы, занимали гостей. Играли то поодиночке, то в четыре руки, то в шесть. А то и в восемь, если присутствовал ещё кто-то из учеников. А бывали и Скрябин, и Фёдор Кёнеман, и Арсений Корещенко, и Константин Игумнов, и Семён Самуэльсон.

В такой день Зверев разрешал своим подопечным выпить по рюмке водки. В случае особых торжеств – по бокалу шампанского. Подобной «педагогикой» Николай Сергеевич приводил в замешательство многих. Но кривотолки его не смущали. Он и после театра любил с мальчишками заглянуть в трактир. Здесь, за ужином, их тоже ожидала рюмка.

Они знали: на следующий день кому-то в шесть утра быть за роялем. И однажды, когда наставник предложил поехать в театр, Лё-Се-Мо вдруг поинтересовались: нельзя ли после спектакля сразу отправиться домой?

– Но как! – Тень улыбки мелькнула на лице Зверева. – Ведь нужно поужинать!

Ответ его троица произнесла в один голос:

– Тогда в театр не хотим.

Николай Сергеевич посветлел лицом:

– Что ж! Значит, театр отменяется.

В ближайшее воскресенье они услышали, как Зверев втолковывал своим сотрапезникам:

– Ну вот, милые друзья, плоды моего дурного, по вашему мнению, воспитания. Отказались от театра, потому что я не захотел отказаться от трактира! Они побывали там, поглазели на посетителей. Отведали еды, попробовали водки. И всё в моём присутствии. Сами убедились, что в запретном плоде – ничего привлекательного. Моя миссия выполнена. Их уже, видите ли, в трактир не тянет! И рюмкой водки не удивись!

Наставления в фортепианной игре сочетались с уроками жизни. Матвей Пресман на склоне лет припомнит историю, где одна черта Николая Сергеевича обозначилась со всей полнотой. Брат Моти, будучи проездом в Москве, попросил у него 25 рублей, пообещав немедленно выслать их из дома. Долг вернул, но в тот же день Рахманинов получил письмо от матери. Она жаловалась, что средств нет даже на дрова, чтобы протопить квартиру. Сергей не знал, что делать, собственных денег у него не было. Мотя отдал деньги товарищу, ещё не зная, какую

пытку им придётся пережить. Когда Зверев спросил о брате, Пресман промямлил, что долг ещё не пришёл. Краски стыда наставник не заметил, глядел в другую сторону.

– Как ему не стыдно! Я ведь знаю, у него и на кутежи хватает. А вернуть взятые у тебя последние 25 рублей – не может!

И для Пресмана, и для Рахманинова началось мучение. Учитель о долге не забывал, спрашивал день за днём. Недовольство сменялось бранью. Наконец Николай Сергеевич не выдержал:

– Знаешь, Мо, я так возмущён, что решил сам написать твоему брату!

Потерянный Пресман сознался в обмане. Зверев выслушал, пожурил:

– Конечно, ты ничего плохого не сделал. Но – солгал. Теперь и самому стыдно, и брата выставил в дурном свете. И Серёжа нехорошо поступил. Вы со мной должны быть откровенны, между нами не должно быть тайн. И вообще, чем искреннее жить, тем легче. Прямой путь тернист. Зато, безусловно, твёрд и прочен.

Гневливый и чуткий, строгий и благородный, он поражал мальчишек и масштабом личности. А главное – об этом вспомнит Рахманинов спустя десятилетия: «...он буквально помещался на нас, своих мальчишках».

«Почти отец». Когда Зверев брал папиросу, они наперегонки хватались за спички, когда зимним утром шёл на занятия – помогали повязать кашне, надеть огромную енотовую шубу и бобровую шапку. Вечером, если он возвращался не поздно, усталый, но в благостном расположении духа, они укладывали его спать: поворачивали на бок, укутывали одеялом, по очереди чмокали в щёку. Ритуал и забавный и трогательный. Довольный, успокоенный, он произносил: «Лё, Се, Мо, как приятно...» Они хором досказывали: «...протянуть ножки после долгих трудов», – гасили свет, уходили к себе.

– Я почему-то уверен: когда помру, вам будет меня жалко. Только не нужно плакать! Лучше, когда судьба сведёт вас за бутылкой вина, выпейте за упокой моей души.

Николай Сергеевич произнесёт эти слова однажды, в минуту тяжкого недомогания. «Зверята» не забудут их. Уже в иной, более взрослой жизни они действительно собирались время от времени помянуть «старика». Что приходило на ум в часы «трактира без Зверева»? Как вечерами – если не ждал театр или концерт – играли с Анной Сергеевной в карты? Без денег, на «просто так». Старушка всё пыталась смухлевать, и Лёля Максимов, бывало, вспыхивал. Но детский её азарт забавлял: ёрзает на стуле, наклоняется, хочет «незаметно» глянуть в карты противника...

Возможно, припоминали, как Серёжа однажды предложил «сочинить что-нибудь». Вечер, горит лампа под абажуром. «Зверята» за столом, корпят над нотной бумагой. У Пресмана – малюсенький «Восточный марш», у Максимова – начало романса. Рахманинов сочинил этюд. Зверев узнал о затее. Каждого заставил исполнить. Какие-то эпизоды у Рахманинова ему показались интересными. Серьёзно к этим опытам наставник не относился, но о сочинительских наклонностях юного музыканта Чайковский узнает именно от Николая Сергеевича.

Не эти ли позднейшие встречи «Лё-Се-Мо» высветят те эпизоды из жизни маленьких музыкальных спартанцев, о которых позже напишет Пресман и расскажет сам Рахманинов? Такие разговоры с зазывным: «А помнишь?» – пропускают одно, закрепляют другое. И, конечно, повзрослевшие «зверята» не только посмеивались над былыми проказами или с благодарностью и грустью вспоминали минуты, когда наставник их был трогателен, добр и великодушен. Были события из ряда незабываемых, «из ряда вон».

Уже в первый «зверевский» год в Москву приехал Антон Рубинштейн. И как не вспомнить подчёркнутой уважительности директора консерватории, Сергея Ивановича Танеева? – «Выражаю просьбу... оказать честь... послушать учеников...»

Играли те из юных консерваторцев, кто успел уже проявить себя: Александр Скрябин, Иосиф Левин, Сергей Рахманинов. А после снова встал Танеев и попросил знаменитого пианиста сыграть для учеников.

Рубинштейн приехал только дирижировать. Но ради консерваторцев исполнил небольшую сонату Бетховена. Серёжа, не остыв от волнения после своего выступления, ничего не запомнил.

Вечером в доме Зверева – приём. За столом человек двадцать гостей, с ними рядом – три мальчика. В награду за хорошую игру Зверев дал «Се» поручение: подойти к Рубинштейну, почтительно взять его за полу фрака и отвести к отведённому месту за столом. Маленького пианиста распирало чувство гордости. Во время обеда он не думал о еде. Жадно ловил каждое слово, каждый жест знаменитого музыканта. Зашёл разговор о молодом исполнителе Д'Альбере – он только что дал концерты в Москве и Питере. Газеты о пианисте писали восторженно: достойный преемник Рубинштейна! Кто-то захотел узнать мнение об игре виртуоза от самого Антона Григорьевича. Рубинштейн откинулся назад, бросил острый взгляд из-под густых бровей и проговорил с иронией, не без горечи: «О, нынче все хорошо играют на фортепиано!..»

Ещё более поразило «зверят» поведение музыканта в Большом театре, на сотом представлении «Демона». Зал был полон. В партере собралась самая изысканная публика. На галёрке – толчея. Зверев со «зверятами» – как всегда – в своей ложе.

Рубинштейн за пультом. Вторая сцена, поднимается занавес. Оркестр играет замечательно, публика – вся внимание, еле дышит. И вдруг – сухие удары дирижёрской палочкой.

Оркестр смолк. В мёртвой тишине раздался скрипучий голос маэстро:

– Я ведь уже просил на репетиции, чтобы на сцену дали больше света!

За кулисами – шум. Сцена озаряется. Рубинштейн спокойно поднимает палочку. Всё идёт с начала.

Независимость от публики, от оркестра, от организаторов концерта – ради исполняемого сочинения. Это юных музыкантов, похоже, поразило даже более самой оперы.

В следующий раз Рубинштейн приехал со знаменитыми историческими концертами. В семь выступлений он попытался вложить путь развития фортепианного искусства, от самых его истоков до конца XIX века: английские вёрджинелисты, Куперен, Рамо, И. С. Бах, Гендель, Д. Скарлатти, К. Ф. Э. Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Вебер, Мендельсон, Шуман, Шопен, Лист – и далее, вплоть до русских композиторов: Глинки, Балакирева, Корсакова, Кюи, Лядова, Чайковского, Николая Рубинштейна и себя самого.

По вторникам маэстро играл в великолепном зале Московского благородного собрания. По средам повторял ту же программу утром, в Немецком клубе – сюда свободно могли пройти музыканты, преподаватели и студенты консерватории. Зверев приводил питомцев и вечером и утром. И маленький Рахманинов опять поражён: те же произведения Рубинштейн в другой раз исполнял иначе, но столь же выразительно!

Крецендо великого пианиста... Казалось, оно могло нарастать безгранично. Диминуэндо доводилось до немыслимо тихого звука, причём отчётливо слышимого даже далеко от сцены. И великолепная техника – и тонкость, одухотворённость исполнения, глубинная музыкальность. Рояль звучал, как оркестр, со всем разнообразием тембров. И снова – произведение значило больше, нежели поведение на эстраде. Когда Рубинштейн сыграл знаменитую си-минорную сонату Шопена, ему показалось, что короткий финал не удался, и маэстро его повторил.

«Я слушал его, замороженный красотой звука, – вспоминал Рахманинов, – и мог бы слушать бесконечно. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь так сыграл виртуозную пьесу Балакирева “Исламей” или нечто подобное его интерпретации маленькой фантазии Шумана “Вещая птица”, отличавшейся неподражаемой поэтической тонкостью: безнадежно пытаться описать *pianissimo* в *diminuendo* в конце пьесы, “когда птица исчезает в своём полёте”. Таким же неподражаемым был потрясший мою душу образ, который создавал Рубинштейн в

“Крейслериане”, последний соль-минорный эпизод которой я никогда не слышал в подобном исполнении. Педаль была одним из величайших секретов Рубинштейна. Он сам удивительно удачно выразил отношение к ней словами: “Педаль – это душа рояля”. Всем пианистам стоило бы помнить об этом».

Волосы – львиной гривой, закрытые глаза, весь облик пронизан музыкой. Таким Антон Рубинштейн врезался в память Сергея Рахманинова.

* * *

Три «зверевских» года словно слились в один, длинный-длинный. Серёжа повзрослел, стал сдержанным, довольно замкнутым. Впрочем, из «взрослого» состояния его выводили озорные выходки товарищей – они нарочно шалили на уроках, чтобы вызвать у него неповторимый, заразительный смех.

Его исключительное дарование становилось всё очевиднее. Когда за обедом в купеческом доме Зверев желал показать игру своих учеников, он чаще всего посылал за Рахманиновым.

В мае 1888-го «зверята» поразят Танеева. Постоянная игра в четыре, шесть и восемь рук (четвёртым в ансамбле обычно выступал Сёма Самуэльсон) приносила свои плоды. После экзаменов Николай Сергеевич предложил экзаменационной комиссии прослушать Пятую симфонию Бетховена в восьмиручном исполнении своих подопечных. Когда Танеев увидел, что четверо мальчишек сели за рояль с пустым пюпитром, он даже привстал:

– А ноты?

– Они играют наизусть, – успокоил его Николай Сергеевич.

И вот замерли звуки последних аккордов знаменитого сочинения... Танеев, изумлённый, всё повторял: «Наизусть!» И Зверев решил его «доконать». Кивнул мальчишкам, чтобы исполнили Скерцо из Шестой Бетховена, «Пасторальной»...

Летом воспитанники выезжали на подмосковную дачу. Инструмент брали с собой. Наставник требовал, чтобы и здесь они работали каждый день. И даже дальний Кисловодск, куда юные музыканты отправятся в один из летних месяцев, не освободит от занятий. Только в 1887 году Серёже позволят отдохнуть с бабушкой. Летом 1888-го он опять со «зверятами».

За игру своих питомцев Николай Сергеевич мог не тревожиться. С теорией музыки дело обстояло иначе. В первые годы «зверята» слишком много времени уделяли занятиям за фортепиано. Весной 1888 года экзамен по элементарной теории сдавал только Пресман. Рахманинова и Максимова Николай Сергеевич решил показать осенью. Впрочем, и успехи Моти оказались весьма средние.

Летом наставник повёз мальчишек в Крым. Их сопровождал преподаватель консерватории.

Кто помнит *композитора* Николая Михайловича Ладухина? А вот его «Одноголосное сольфеджио» вошло в музыкальную педагогику как незаменимое пособие для развития вокально-интонационной способности чтения с листа.

Сам наставник ехал в первом классе. Преподаватель, повар Матвей и воспитанники – в третьем. Вряд ли Николай Сергеевич пожадничал. Скорее накануне проигрался.

Остановился Зверев в поместье Токмакова Олеиз. Дети хозяина – тоже его ученики. Неподальёку от поместья Николай Сергеевич снял домик, где поселил своих питомцев с Ладухиным. Крымская жара мало способствовала умственным занятиям. Много купались, гуляли. С профессором занимались всего по часу в день. Но толковый педагог, его умение заинтересовать мальчишек сделали своё дело: за два с половиной месяца «зверята» прошли и элементарную теорию, и начала гармонии, на что в консерватории отводилось более двух лет.

В Крыму все впервые увидели «необыкновенного» Рахманинова: то ходит мрачный, опустив голову, то задумчиво смотрит вдаль. То вдруг начинает что-то тихо насвистывать, размахивая в такт руками. Через несколько дней, когда они с Мотей остались одни, Сергей с таинственным выражением на лице позвал его к роялю. Начал играть. Спросил:

– Не знаешь, что это?

– Нет, – признался Пресман.

– А как тебе нравится этот органнй пункт в басу при хроматизме в верхних голосах? – И увидев, что Моте музыка пришлась по душе, не без довольства сказал:

– Это я сам сочинил и посвящаю тебе эту пьесу.

Осенью в Москве «зверята» элементарную теорию «закрыли» на «отлично». Рахманинов сумел сдать и экзамен по гармонии за первый год.

* * *

С детством пришлось расстаться той же осенью 1888-го, «зверята» переходили в старшие классы, к новым учителям – или к Пабсту, или к Сафонову. Рахманинов уже подумывал о последнем, Василий Ильич – при довольно трудном характере – был педагогом редким, способным открыть в ученике все особенности его дарования. Но разрешилось иначе. Александр Ильич Зилоти поселился в Москве, став новым преподавателем консерватории, и Зверев настоял на своём: лучших учеников, Максимова и Рахманинова, передал Александру Ильичу.

Учиться у собственного брата, пусть и двоюродного... Александра Гольденвейзера, который появится в классе Зилоти через год, поразит их общение: на «ты».

Жили «Лё-Се-Мо» всё так же у Зверева. Но и сам Николай Сергеевич уже глядел на воспитанников иначе. Как-то раз, узнав, что Моте не хватило денег, чтобы прокатить свою симпатию на лихаче, расщедрился: выдал тому пять рублей на будущее. Разговоры о сердечных делах возникали время от времени, у «Лё» и «Мо» узнать об их увлечениях не составляло труда. Но Рахманинов был скрытен и молчалив. Жизнь его сердца для других всегда будет за семью печатями.

Успехи Сергея по классу фортепиано становились привычными, и главное место в его жизни всё более занимала композиция.

Новый педагог по теории музыки, Антон Аренский, проникся к ученику симпатией. О педагогическом даровании Антона Степановича остались отзывы весьма противоречивые. Его ценили за талант, за то, с какой лёгкостью он мог придумать задачу по гармонии и тут же её решить. Но когда дело касалось умения объяснить, нетерпеливого и вспыльчивого Аренского понимали далеко не все. Иной раз он мог довести ученика до слёз потому, что сам пребывал в скверном состоянии духа. С Рахманиновым Антон Степанович вёл себя иначе. Сергея увлекли гармония, законы голосоведения, модуляции из одной тональности в другую, и учитель с необыкновенным для него терпением помогал в решениях, пробуждая в юном консерваторце ту природой данную изобретательность, которую давно в нём распознал. За сочинённые в курсе гармонии пьесы Рахманинов получал и «хорошо», и «очень хорошо», и даже «отлично». Когда же в конце учебного года ученик принёс десять написанных пьес, Аренский каждую отметил высшим баллом.

Экзамен шёл долго. Задание гармонизовать мелодию Гайдна для Рахманинова особой сложности не представило. А вот написать прелюдию от шестнадцати до тридцати тактов с двумя органнйми пунктами на тонике и доминанте, найти верную модуляцию из одной тональности в другую – над этим пришлось покорпеть.

Антон Степанович получал листы учеников, недовольно морщился, с тревогой посматривал на любимца. Тот просидел над заданием дольше всех. Но когда протянул своё сочинение Аренскому, учитель улыбнулся:

– Только вам удалось уловить верный ход гармонического изменения.

На следующий день студенты исполняли свои сочинения перед комиссией. Среди профессоров был и Чайковский. Сергей уже знал, что ему выставили высший балл, – за роялем был спокоен. Когда кончил играть, Антон Степанович шепнул Чайковскому о вчерашнем экзамене. Пётр Ильич благосклонно кивнул, согласился послушать. Своё сочинение Сергей сыграл наизусть. Увидел, как Чайковский взял экзаменационный журнал и что-то в нём пометил. Лишь спустя недели две Рахманинов узнает, что знаменитый композитор пятёрку с крестом окружил ещё тремя плюсами. Этот неожиданный итог Антон Степанович попытался скрыть от ученика, дабы – не дай бог – не возгордился. Но сам же в конце концов и проговорился.

За курсом гармонии – на следующий год – шёл контрапункт. Сергей Иванович Танеев к своему предмету испытывал особую слабость. Долгие годы он работал над фундаментальным трудом – «Подвижной контрапункт строгого письма». Полифония старых голландцев (та музыка, которую любят немногие, и у большинства студентов от неё сводит скулы) виделась Танееву началом всех начал, тем более что правила ведения голосов, их сочетания, которые ещё в добаховские времена стали редкостью, – одна из основ в подготовке будущих композиторов. Тема и её возможные превращения – движение задом наперёд (ракоход), зеркальное отражение (тема «вниз головой»), проведение темы в увеличении или в уменьшении (медленнее или быстрее) – всё, что приводило в восторг Танеева, повергало в тоску его учеников. И Рахманинов, и его сокурсник Скрябин отлынивали от этих задач как могли. То пропускали уроки, то приходили, не выполнив задания, ссылаясь на фортепианные занятия.

Позже, зрелыми музыкантами, они в собственном творчестве столкнутся с тем, чему учил Сергей Иванович, тогда не без пользы вспомнят и его уроки. Пока же добились только неприятности: огорчённый Танеев пожаловался Сафонову. Впрочем, Василий Ильич и сам скукал от этой музыки, так что пожурил студентов только для приличия.

Скрябин когда-то учился теории у Сергея Ивановича, ещё до консерватории, мальчишкой. Преподаватель знал характер непоседливого студента. Теперь зазывал к себе на дом, давал задание, запирали на ключ и уходил часа на два. Бывало, проворный ученик сбегал, вылезая из окна: квартира Танеева располагалась на нижнем этаже. Но добросовестный педагог так огорчался нерадивостью ученика, что того поневоле начинали мучить угрызения совести. И тогда Скрябин стал сочинять предельно короткие темы, чтобы сократить и сами упражнения¹⁴.

К Рахманинову Танеев нашёл другой подход. Об этом композитор расскажет биографу: «На клочке нотной бумаги он писал тему и присылал её к нам домой со своей кухаркой. Кухарке было строго-настрого приказано не возвращаться, пока мы не дадим ей выполненные задания. Не знаю, как подействовала эта мера, которую мог придумать только Танеев, на Скрябина; что касается меня, он полностью достиг желаемого результата: причина моего послушания заключалась в том, что наши слуги просто умоляли меня, чтобы кухарка Танеева как можно скорее ушла из кухни. Боюсь, однако, что иногда ему приходилось долго ждать ужина».

Помогло, впрочем, и честолюбие: Рахманинов слышал о «большой золотой медали» – её давали по окончании за отличные результаты в обучении по двум специальностям...

* * *

Его всё больше манила тайна композиции. Рахманиновских пьес того времени сохранилось не очень много: «Песня без слов», сочинённая в 1886–1887 годах, три ноктюрна конца 1887-го, Романс, Прелюдия, Мелодия и Гавот, написанные до 1891-го. Дыхание в эту музыку пришло от Шопена, Шумана, Мендельсона. И всё же – пусть ещё робким пером – юный сочинитель нащупывает свой путь в искусстве композиции, а его Романс – из тех сочинений, которые притягивают своей «сладковзвучностью».

Но сочинительство требовало сосредоточенности, а из комнаты с роялем неслись чужие звуки, не давая собраться с мыслями. Сергею не хватало уединения.

К Звереву он решился подойти октябрьским вечером 1889-го: нельзя ли получить отдельную комнату с роялем, чтобы заниматься композицией? Сергей Васильевич вспоминал: «Наша беседа началась спокойно и протекала в совершенно мирных тонах до тех пор, пока я не произнёс какие-то слова, мгновенно его взорвавшие. Он тут же вскочил, закричал и швырнул в меня первым попавшимся под руку предметом. Я оставался совершенно спокойным, но тем не менее подлил масла в огонь, сказав, что я уже не ребёнок и что тон его разговора со мной нахожу неподобающим».

Что взбудоражило Зверева? Не просьба, но какие-то неудачные фразы? Мотя Пресман оказался свидетелем скандала: «Зверев был взволнован чуть ли не до потери сознания. Он считал себя глубоко обиженным, и никакие доводы Рахманинова не могли изменить его мнения. Нужно было обладать рахманиновской стойкостью характера, чтобы всю эту сцену перенести».

Несомненно, Николай Сергеевич вдруг увидел перед собой не талантливого ребёнка Серёжу, а неожиданно взрослого и уверенного в собственной правоте человека. Далее туман сгущается, свидетельства путаются. Похоже, от возможного примирения уходили оба.

В конце концов, Николай Сергеевич назначил встречу у Сатиных, родственников Рахманинова. За четыре московских года Сергей был у них лишь дважды.

В гостиную их ждали. Собрался семейный совет. Николай Сергеевич говорил спокойно: несходство темпераментов, жить под одной крышей нельзя... Бросать бывшего подопечного на произвол судьбы не хотелось бы. Он надеется, что родственники смогут о нём позаботиться.

Ранним утром Рахманинов уложил нехитрый багаж и перебрался к консерваторскому приятелю, Слонову. Михаил Акимович учился по классу вокала, жил отдельно. У него Сергей рассчитывал получить пристанище на первое время. О дальнейшем не думалось: уроки фортепиано приносили только 15 рублей в месяц.

Конечно, он поторопился с уходом. Варвара Аркадьевна Сатина и Юлия Аркадьевна Зилоти, родные тётки, оббегали весь город. Хмурого племянника нашли только на следующий день. Не согласится ли Серёжа пожить у них? – Варвара Аркадьевна спросила его не без волнения.

И вот – дом в Левшинском переулке на Пречистенке. Глава семьи, Александр Александрович Сатин, тётя Варя, урождённая Рахманинова, его жена.

Юный музыкант не знал, что здесь творилось утром. Взрослые удалились за двери кабинета. Младшим, чтобы не глазели, дали разматывать шерсть. Сказали: сейчас сюда придёт ваш двоюродный брат, Серёжа, у него неприятности, и надо с ним быть добрее.

Рахманинов увидел детей, которые разматывают большие клубки. Подсел, начал помогать. За таковым занятием и познакомились. Саша Сатин – ровесник. Наташе – двенадцать, Соне – десять, Володе – восемь.

...К замкнутому характеру Сергея скоро привыкли. И, конечно, настал тот день, когда Сатины услышали его заразительный смех.

2. Необыкновенное лето

Наступил год 1890-й. Сергей жил у Сатиных. Начались месяцы занятий, особенно трудные из-за ссоры со Зверевым. Но на экзамене свои «пять с крестом» за фортепиано он всё равно получит. Отличится и у Танеева по контрапункту, и у Смоленского по истории церковного пения. Рахманинов ещё не мог предвидеть, сколь значимым станет для его музыки Степан Васильевич. Смоленский преподавал не только в консерватории, он возглавлял Московское синодальное училище церковного пения. Вникнуть в древнерусское церковное пение, ощутить его красоту и стать одним из основоположников новой духовной музыки – с этим вошёл Смо-

ленский в историю русской культуры. Но подлинно творческое общение Степана Васильевича и его ученика – дело будущего.

С Наташей Сатиной, ученицей Зверева, Сергей немножко занимался. Пытался сочинять. Сначала появится лермонтовский романс «У врат обители святой», потом «Я тебе ничего не скажу» на стихи Фета. Но музыка его словно жила в предчувствии чего-то необыкновенного.

Когда повеял тот волшебный ветерок в его биографии?

Сначала в их доме появилась Елизавета Александровна Скалон с дочерьми. Ехала из Петербурга в Ивановку проездом через Москву. Заглянула к брату. Родственное семейство встретило их шумно. Возрастом Наталья, Людмила и Вера Скалон – чуть постарше Наташи, Сони и Володи Сатиных, только один Сашок был вполне «по росту» скалоновской компании. Варвара Аркадьевна тут же познакомила гостей и с другим «взрослым» ребёнком – со своим племянником-консерваторцем.

Сергей вышел к барышням – высокий, молчаливый, худой, длинноволосый. Сёстрам юный музыкант не приглянулся: слишком хмур. С. временем, уже в Ивановке, они увидят другого Рахманинова.

Степная Россия, её неподвижный воздух в солнцепёк, стрекот кузнечиков, разлитый по нагретой земле. Качание трав при малейшем ветерке. Нескончаемые дали. И тенистый уголок в этом бескрайнем мире – с аллеями, птичьими голосами, заливом, скрипом уключин. И столь простое название: Ивановка.

Лето 1890-го – из тех, от которых в памяти остаётся ощущение сладкого восторга. Для будущих биографов оно подёрнуто завесой из каких-то неясностей и недомолвок.

Главное свидетельство этих месяцев – дневник Веры Скалон. Тоненькая тетрадь с пожелтевшими страницами. Несколько листов, выдранных из другой тетради, вложены сюда же. Записи карандашом. День за днём автор дневника заносит свои впечатления и переживания.

Что-то настораживает, когда рассматриваешь эту рукопись. Почему часть записей столь старательно убрана ластиком? Почему тетрадные листы и те, что вложены, – разной желтизны, будто часть дневника написана позже? Да и почерк слегка меняется: последние страницы будто писаны тем же человеком, но спустя годы, когда и почерк становится более «твёрдым». На первой странице – роспись. И она изумляет ещё больше: «Н. Скалон». То есть – не Вера, а Наталья? Наташа Скалон описывает события как бы от лица своей сестры? И, наконец, отсылка к другому, неизвестному нам источнику. После слов: «Теперь приступлю к описанию дня» – стоит: «(См. 5-ая тетр.)». Дневник, несомненно, отразил некоторые события того лета. Но его нельзя считать *дневником*. Это – произведение, которое лишь по форме напоминает дневник. Неясно, кому из сестёр оно принадлежит. Когда и зачем оно написано¹⁵.

Дневник был опубликован в приложении к тому воспоминаний о композиторе. Ни росписи «Н. Скалон», ни отсылки к «5-й тетради» в напечатанном тексте не было. Доверчивые биографы, не видя рукописи, быстро сочинили историю о юношеской любви композитора.

Сохранились, правда, и его письма, главным образом – к Наталье Скалон. Но в них тоже множество намёков и ничего явного. Говорит только интонация. И если и о любви, то скорее к Наталье Дмитриевне, Татуше, Туки.

В Ивановке тесновато. Много и взрослых, и юных, и совсем маленьких. Александр Александрович занят делами хозяйственными, он в разъездах. Варвара Аркадьевна и Елизавета Александровна присматривают за детьми – и чтобы вели себя прилично, и чтобы от занятий не отлынивали. У младших Сатиных своя французенка – Жеан семнадцати лет. У сестёр Скалон – англичанка. Ей девятнадцать, и сёстры называют её не «мисс», но Миссочка.

Рядом живёт и семейство Зилоти. Александр Ильич до забавного мнителен, всё выискивает у себя хвори. Под стать ему и жена, Вера Павловна, дочь известного купца Павла Михайловича Третьякова. Стоит Александру Ильичу обратить внимание на кого-нибудь из девушек,

у неё от ревности начинают ныть зубы. С ними рядом – их милые, крохотные дети, Ника и Ваня. Но это лишь «фон» главных событий душевной жизни Сергея Рахманинова.

Звуки одного рояля неслись из дома, звуки другого – из флигеля. В доме, предвкушая концертный сезон, играл Александр Ильич Зилоти. Во флигеле за инструментом Серёжа или, по очереди, сёстры Скалон, Соня и Наташа Сатины. Девчонки не особенно горели желанием отрабатывать ежедневные «уроки» – вздыхали, капризничали. Да и обязательное чтение отнимало у них много времени. Но всё скучное выветрилось из памяти, осталось – и у Рахманинова, и у Скалон – совсем иное.

Как всё смешалось этим летом! В компании девушек Серёжа стал своим, хотя и был «на особинку». Легко раздавал забавные имена. Татуше Скалон, самой старшей, – Ментор. Она и впрямь любила поучать, руководить. Людмиле – Цукина (очень уж восторгалась балериной Цукки). Младшей, Вере, – Брикушка, Беленькая, Психопатушка.

Словечко «психопат» в те годы было в моде. Оно то и дело крутилось у Рахманинова на языке. Он мог им окликнуть и Сашу Сатина, когда тот начинал наигрывать на окарине¹⁶, и себя обозвать. Но именно к Вере это Психопатушка походило как ни к кому другому. Слабенькая – порок сердца и ревматизм суставов, – чуть экзальтированная, она очень хотела нравиться. Были у неё и друг детства, Сергей Толбузин, и давняя с ним взаимная симпатия. Но воздух Ивановки действовал необыкновенно. Ей захотелось внимания со стороны «С. В.» (так будет обозначен Рахманинов в «скалоновской» тетрадке). Он был непонятный, странноватый. На беду – настолько странноватый, что Брикушка на него то и дело досаждает. Очень уж внимателен к Татуше, к Тунечке, к Ментору, хотя она и старше его. Над Татушей он подтрунивал, когда та начинала кого-нибудь распекать. Её рукопись – она сочиняла роман! – взял почитать. С ней играл в четыре руки – Тунечка и правда хорошо читала ноты с листа, так что С. В. её только нахваливал.

Их возраст тоже играл свою роль. Верочке Скалон – четырнадцать и в августе исполнится пятнадцать. Лёле – шестнадцать. Татуше – двадцать один. Саше Сатину, как и Серёже Рахманинову, – семнадцать. Иногда сюда наезжал младший брат Александра Зилоти, Дмитрий Ильич. Он самый старший в их компании, ему двадцать четыре.

Внешний сюжет запутан и не особенно занимателен. Детская ревность Веры к Татуше, скрытое предубеждение Серёжи по отношению к Мите Зилоти, его же смешливые упоминания Толбузина, чтобы Вера услышала, намёки старших сестёр на её чувства. Внутренний сюжет – можно только угадывать.

Диалоги С. В. и Татуши понятны только им одним. Как и нередкие размолвки.

Рахманинов казался иногда старше, «серьёзнее» своего возраста. У него и фортепиано звучит «по-настоящему», и к тому же – хотя и волею случая – от Петра Ильича Чайковского через Александра Зилоти он получил совсем «взрослый» заказ.

Иной раз юный музыкант, сосредоточенный, уединяется, что-то сочиняет. В часы отдыха он совсем простой, невероятно смешлив. отлично управляется с вёслами и всегда готов катать сестёр на лодке. Милый, долговязый, лохматый (именно сёстры Скалон присоветуют ему коротко стричься).

Само место – Ивановка – казалось «заколдованным». Рядом с усадьбой – тенистый парк, беседки и везде цветы, цветы, цветы... Влажные овраги с водой и густой травой делали место необычайно живописным. Был и залив – та часть пруда, что словно бы делила одну сторону парка на два берега. И что могло быть лучше лунной ночи, плавного скольжения лодки, девичьих приглушённых голосов и редких восклицаний! Смотреть, как качаются звёзды в воде, следить за колыханием светлой дорожки, слышать «скалонистый» смех...

Их общая влюблённость растворится в даях времени. Какие-то эпизоды будут всплывать в воспоминаниях, как в полусне. Вот конь чуть не сбросил Лёлю Скалон, но С. В. подошёл, подхватил и, сам ловко вскочив в седло, обуздал норовливую лошадь. Вот стог душистого

сена в поле, где так хорошо развалиться и мечтать, вздыхать... Лёля вспомнит его через многие годы:

«Омёт высокий, но с одной стороны отлогий. Серёжа кричит:

– А ну! Кто первый взберётся наверх? – Все карабкаются, хохочут, толкают друг друга. Я завалилась и никак не могу встать, Серёжа мне протягивает руку и с силой подтаскивает. Красные, запыхавшиеся, мы все устраиваемся удобно, как в гнёздышке, а Серёжа говорит:

– Как здесь хорошо, будем часто сюда забираться».

Рахманинов вспомнит это место через три года, в письме Татуше Скалон: «...Известные воспоминания, известные мысли, известное ожидание, сомнение, маленький страх и т. д. Вообще приходит срок доказывать справедливость слов, сказанных кем-то, когда-то и где-то! (Впрочем, я знаю где: на соломе!)».

Строки, из которых трудно понять что-либо, кроме скрытой горечи о несбывшемся. Но счастье всегда недолговечно. И всегда необъяснимо, как чудо.

Вера, Беленькая, вздохнёт: «Кто объяснит, наконец, за кем же он ухаживает?» Мог ли С. В. и сам вполне понять свои чувства? Внимание Психопатушки было мило. В Лёлин час, когда с двух до трёх она играла на рояле, он сидел иногда на табуретке рядом и ловил эти звуки с живым участием. Ему нравилось наблюдать, как Цукина Дмитриевна надувает губки, если Елизавета Александровна её одёрнет. Более глубокое, но трудно объяснимое чувство – к старшей. И в письмах его зазвучит: Наталья Дмитриевна, Татуша, Туки, Тата-ба.

Вере, которую загоняли домой до наступления позднего часа, он посвятит «ночной» романс на стихи Фета:

О, долго буду я, в молчанье ночи тайной,
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайный,
Перстам послушную волос густую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, один, никем не зримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты...

Стихи – с трепетом, со стуком сердца. И в тот же опус 4-й войдёт и один из самых знаменитых романсов, «пушкинский», – «Не пой, красавица, при мне...». Его он посвятит Наташе Сатиной. Лёле, уже в 1896-м, преподнесёт «Я жду тебя» на стихи Давидовой. Татуше вскорости – Вальс для исполнения в шесть рук. Сам же обозначит, кто его должен играть: *primo* – Вера Скалон, *secondo* – Людмила Скалон, *terzo* – Наталья Скалон. Фортепианный Романс для того же состава исполнителей, законченный чуть позже, отошлёт Татуше ко 2 ноября 1891 года, в подарок на день рождения. Через три года – после доверительной и непростой переписки – посвятит ей романс «Сон», на стихи Гейне в переводе Плещеева. В письме намекнёт, что многое в этом сочинении «текст объясняет»:

И у меня был край родной;
Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной...
Но то был сон!

Семья друзей жива была.
Со всех сторон
Звучали мне любви слова...

Но то был сон!

...Ивановка 1890-го, шумная, многолюдная. Несмолкающие звуки роялей. Рахманинов «долбит» этюды. Или с Татушей вместе они читают по нотам оперу Арриго Бойто «Мефистофель» – хотят решить о ней свой спор. Или – с Александром Ильичом – в четыре руки играют что-нибудь особенно замечательное.

Оба консерваторца – и учитель и ученик – погружены в Чайковского. Зилоти держит корректуру недавно написанной Петром Ильичом «Пиковой дамы». Серёжа делает четырёх-ручное переложение «Спящей красавицы». Иной раз навещается с вопросами к Александру Ильичу. В это же лето рождается и его собственная музыка, непохожая на всё, что он писал до сей поры. Не потому ли, что именно в Ивановке он открыл её истоки?

Тамбовская губерния – это совсем другая Россия, не сходная ни с Онегом, ни с Новгородом, ни с Москвой. Рожь и овёс качаются под ветерком. Кое-где встречаются перелески, их тут называют кустами. И – степи. Те самые дали, которые войдут в его музыку долгими, протяжными мелодиями. Степной воздух, с запахом трав и земли. Радостные переливы жаворонков, что взлетают высоко под небеса. Медленное кружение ястребов. В полдень здесь словно застывает время.

Первый концерт для фортепиано с оркестром Рахманинов будет сочинять долго, целый год. Уже в конце 1917-го композитор заново переработает своё юношеское сочинение. И правка – подобна возвращению: он лишь отчётливее прояснит то восторженное и одновременно тревожное состояние необыкновенного 1890-го.

Бурное вступление с фортепианным ниспадающим, с задержками, пассажем может напомнить концерт Грига, который звучал в Ивановке из дома, где жил Зилоти. Правда, Рахманинов – жёстче, резче, твёрже. В мелодических движениях ошутимо «лирическое веяние» Чайковского. Но Рахманинов – мужественнее и непреклоннее.

В концерте царствует фортепиано. Оркестр лишь сопровождает его. Концерт получился лирический, хотя, в иных эпизодах, и с драматическими изломами, и с «эпическим дыханием». Главная тема – завораживает. Она была найдена здесь, в Ивановке. С побочной композитор мучился. Поначалу выходило бледно. Потом он найдёт новые интонации и краски¹⁷.

Вторую часть концерта исследователи сближают и с романсом «для Веры» – «В молчанье ночи тайной»¹⁸, и со всеми невокальными «Мелодиями», «Песнями» и «Романсами» композитора¹⁹, значит, и с тем шестиручным «Романсом» для фортепиано, который он напишет в следующем году для Татуши. «Баркарольный» фон во второй части неизбежно вызывает образы воды – не того ли самого пруда в Ивановке, по которому скользила лодка? Но явлены здесь и широта, и дальний горизонт, который отныне станет неотъемлемой чертой звукового мира Рахманинова. Есть в музыке и лёгкие позванивания, за которыми услышат и дождевые капли, и – далее – колокольчики и бубенцы, образ дальних дорог.

Третья часть концерта построена как рондо-соната. Здесь – и быстрые эпизоды, и те, что вобрали в себя «дыхание пространств». В концерте соединились и мятежные душевные страсти, и величие родных просторов. Предчувствие концерта и первые наброски связаны с Ивановкой. Завершение произведения – с той же Ивановкой, только через год.

3. От Первого концерта до «Алеко»

В конце августа 1890 года Рахманинов выехал в Москву. Оглядывался ли с тоскою назад, когда лошади везли по тряской дороге? Ехал один: и сёстры Скалон, и Сатины – все оставались ещё в том удивительном лете. Для него чудо закончилось. Дорогой успел простыть, мучился от головной боли, чувствовал озноб. В Козлове остановился у отца на день, надеясь

отлежаться. В Белокаменную прибыл на поезде, во втором классе, пролежав-промаявшись без сна всю дорогу.

Дома его ждали нескончаемые вопросы Федосьи – Феоны, как звали её Сатины, их доброй няньки. После завтрака нагрянули гости. В сентябрьском письме Татуше – маленькие подробности: «Приезжает многими любимый и мною уважаемый дорогой и для некоторых бесценный Сергей Петрович Толбузин со своим товарищем. Я к нему вхожу; так как кроме меня в квартире никого не было, обязанность занимать дорогих гостей лежит, конечно, на мне. Ну как же мне занимать Сергея Петровича, как не “беленькой психопатушкой”... (Я сымаю шляпу и кланяюсь низко перед психопатушкой; прошу у неё прощения...) Действительно я врал немилосердно; к моему ещё большому удовольствию он не знал, кто я такой. Я провёл эти несколько минут прелестно».

В короткой сентябрьской переписке (Москва – Ивановка, Ивановка – Москва) трепещет мелодия летнего чуда. К Цукине Дмитриевне Рахманинов внимателен. О Беленькой – Брикушке – Психопатушке говорит затейливо, с подковырками, то и дело поминает Сергея Петровича Толбузина. Тронут её детским чувством, но в Ивановке как-то установилось, что сёстры о Брикушке бросают фразы с проказливым «подмигиванием». Он тоже пишет чуть-чуть дурачась, но и «с лирикой». Татуша (Тата-ба, Тата-пай) – главный его собеседник. В обращении к «дорогому ментору» – затаённая робость, то с тихой восторженностью, то с печальными шуточками. Очарованный, не забывал и двоюродную сестрёнку: «Наташе передайте, пожалуйста, что я очень люблю, когда меня на бумаге целуют».

Осенью Скалоны возвращались в Питер, проездом заглянули в Москву. Через два дня музыкант начинает ждать писем. 30 сентября долгожданные послания приходят. Через день – признание: после этих весточек два часа не мог заниматься. От одной весточки до другой ровная канва привычной жизни нарушается только сочинительством.

Осенью он взбудоражен «Манфредом». Байронова поэма волновала многих музыкантов. Некогда «болел» этим героем юный Мусоргский. У Чайковского увлечение байроновским образом вылилось в одноимённую программную симфонию.

Рахманинов пробует сочинять, он настолько захвачен своим «Манфредом», что однажды – не желая прерывать работу – черкнул записку о «нездоровье» Третьяковым, у которых должен был давать урок.

Вдохновенное композиторство сочетается с работой над переложением «Спящей красавицы» и ученическими опусами по курсу канона и фуги у Аренского.

«Манфреда» Рахманинов так и не закончит. Но появятся и оркестровая сюита, и «Русская рапсодия» для двух фортепиано, и хоровой опус «Deus meus». Последний родился как упражнение на занятиях Антона Степановича. Студенческий хор готовит его к исполнению, сам автор над этой затеей готов поиронизировать: «...ужасно не хочется с такою мерзостью выступать».

«Русскую рапсодию» Рахманинов надеется исполнить на консерваторском концерте. Разучил её с Лёлей Максимовым. Этому начинанию воспротивился неостывший Зверев, а Лёля, как-никак, жил ещё у него. В письме сёстрам Скалон юный композитор вздохнёт, что «грустил два дня». Впрочем, надо всеми сочинениями в этот год возвышалось только одно – Первый фортепианный концерт.

...С 8 октября Рахманинов преподаёт в хоровом обществе, где многим из учеников под пятьдесят. Среди них семнадцатилетний педагог чувствует себя не лучшим образом. Первое занятие долго будет стоять в памяти. Как вошёл в класс. Как великовозрастные подопечные встали. Он сел – сели и они. Начал говорить... Сам чувствовал, что урок ведёт скверно, «мямлит». Мыслями отвлекался то на «Манфреда», то на милых Скалон. В невинном замечании одного из «хористов» ему померещился выпад. Юный преподаватель оборвал, вышел из себя, и несчастный студент не решился что-либо ответить. Собственная резкость педагогу тут же

показалась неприятной. И когда он начал экзаменовать всех поступающих, вдруг обнаружил в себе редкую доброту.

Эта служба не столько выматывала, сколько нервировала. Жалуясь Татуше, Рахманинов однажды обрисует себя весьма точно: «раздражительный, нетерпеливый до болезненности». Как-то раз, уже в марте, он так осерчал на своих учеников, что одного выгнал из класса, другого, в сердцах, обозвал идиотом и вышел из аудитории, не дождавшись окончания урока. В письме Ментору – вопль о том, как всё нелепо, как всё непоправимо: «И что я в самом деле за несчастный, из-за пяти рублей мучиться, а главное, зная то, что через несколько дней, через несколько недель и месяцев то же самое».

Жизнь в посланиях словно летела над всей сутолокой дел. Писем за свою жизнь он напишет множество. Но столь смятенных и трепетных, полуревнивых-полуласковых будет немного. Его задевали за живое упоминания о «петербургских баронах», о брате Саши Зилоти – Дмитрии Ильиче, «царапало» церемонное «Вы» (с большой буквы) в Татушиных посланиях. Строгого Ментора слегка коробят его реплики о «бедном странствующем музыканте». Рахманинову не хватает летнего общения, к которому он так прикипел душой. Но ещё больше недостаёт ответного тепла. Читает придирчивые внушения Татуши, в ответ – наигранные сетования, тон намеренно весёлый. Иногда прорывается и другое: «Всё-таки пишите мне, родненькая, поскорее, только на бумаге не такого маленького формата».

В начале декабря он мечтает попасть в Петербург, на премьеру «Пиковой дамы». Мог бы тогда побывать и у Скалонов. Мешает одно обстоятельство: в консерватории готовится исполнение его произведений для струнного оркестра, переделанных из незавершённого квартета: «Если бы я знал раньше, что благодаря этой вещи лишусь отпуска, я бы, конечно, не написал её. Это сочинение не стоит не только трёх генеральш, но и одной». Мысль побывать в Петербурге не оставляет. Он даже описывает возможную встречу в театре, в ложе «генеральш Скалон»: «Вы только не огорчайтесь, дорогая Тата-ба, и не приходите в отчаяние. Успокойтесь! Больше пяти минут сидеть у вас не буду, потому что очень хорошо знаю, что надоедать неприлично. Вот вам идеал скромности, дорогой мой ментор».

В Петербург Рахманинов попал в конце декабря. Побывал на «Пиковой даме» Чайковского, навестил Скалонов. Получил выговор Татуши, что почти не отвечает на вопросы в письмах. Спустя несколько дней по приезде торопится с ответом Ментору: «Доехал я до Москвы очень хорошо. Спал, но немного». И после – помимо прочих шуточных замечаний – признание: «Я бы вам написал в первый день моего приезда сюда, но когда мне бывает тяжело, тогда я ничего не могу делать; могу только заниматься. И когда занимаешься весь день напролёт, тогда становится как-то легче».

Как многие москвичи, он, в отличие от питерцев, готов проявить некоторую несдержанность: «Я недавно перечёл все ваши письма ко мне, Наталья Дмитриевна, мне так приятно было их читать, так ясно я после этих писем вас себе представил. Я вам напишу, какой вы мне представились: милой, симпатичной, хорошей, дорогой Татой. Вы не рассердитесь за откровенность? Это не по-петербургски написано. Не правда ли?»

* * *

Среди воспоминаний о Рахманинове есть одно, Михаила Букиника, где словно бы дан мгновенный «снимок» консерватории – весной 1891-го²⁰. Коридор, галерея профессоров. Грузный Танеев с незащитным взглядом близорукого, Пабст, «огромный, тяжёлый тевтон с бульдогообразным лицом», но при этом «добрейший человек», Зверев (от него веет «миром и спокойствием»), Зилоти, «высокий, гибкий, живой», молодой Ферруччо Бузони «с розовыми губами и с маленькой светлой бородкой», юркий Аренский «с кривой усмешкой на умном

полутатарском лице» (он всё «острил или злился»). Здесь же и хозяйственный директор, Василий Ильич Сафонов, «полный, кряжистый, с пронизывающими чёрными глазами».

Ученики толпятся подальше, кто на втором этаже, в «сборной комнате», кто внизу, в раздевалке. Стараются избежать не столько встреч с наставниками, сколько с инспектором консерватории, Александрой Ивановной. Высокая, тонкая, с особым талантом появиться там, где её не хотели бы встретить, она наводила страх на студентов. Следила за учениками и ученицами, поблажек не делала никому, грозила всяческими карами за проступки, вызовом к директору и даже увольнением.

Портреты студентов у мемуариста не менее выразительны, быть может потому, что он выбрал особенно одарённых:

«...Розовый, с копной курчавых волос Иосиф Левин, уже тогда выступавший в больших концертах как законченный пианист. Маленький и юркий скрипач Александр Печников – консерваторская знаменитость: он страшно важничает и никого не замечает, но он талантлив, и мы восхищаемся им. Тщедушный, вылощенный А. Скрябин, никогда не устаивавший никого разговором или шуткой; в снежную погоду он носит глубокие ботинки, одет всегда по моде. Скромный, всегда одинокий А. Гольденвейзер. К. Игумнов – “отец Паисий”, как его прозвали; у него вид дьячка, но он студент Московского университета, и его уважают. На наших собраниях любит бывать Коля Авьерино, чёрный, как негр, и большой шутник; приходят иногда деловитый Модест Альтшулер и Лёнька Максимов, длинный, худой и очень общительный, всеми любимый товарищ – он центр разных кучек, сам много говорит, любит шутку, любит и скабрёзность, и мы охотно толпимся вокруг него.

В этой толкотне появляется и С. Рахманинов. Он высок, худ, плечи его как-то приподняты и придают ему четырёхугольный вид. Длинное лицо его очень выразительно, он похож на римлянина. Всегда коротко острижен. Он не избегает товарищей, забавляется их шутками, пусть и мальчишески-циничными, держит себя просто, положительно. Много курит, говорит баском, и хотя он нашего возраста, но кажется нам взрослым. Мы все слышали о его успехах в классе свободного сочинения у Аренского, знали о его умении быстро схватить форму любого произведения, быстро читать ноты, о его абсолютном слухе, нас удивлял его меткий анализ того или иного нового сочинения Чайковского (мы проникались его любовью к Чайковскому) или Аренского».

1891-й – это ещё один напряжённый год. Фортепиано, канон и fuga, инструментовка общая, инструментовка специальная, история музыки, история церковного пения, педагогический класс. Будущие пианисты – под водительством своих преподавателей – учили общему фортепиано тех, кто играл на другом инструменте. И ученик Рахманинова, Иван Пельцер, и сам его молодой педагог показали себя весьма неплохо в сравнении с другими экзаменуемыми. Высокую оценку получил он и за историю церковного пения. Неприятный сюрприз ожидал совсем не на экзаменах.

История эта – с «изнанкой». Александр Ильич Зилоти хотел взять в свой класс одну ученицу. Василий Ильич Сафонов определил её к новому преподавателю, Павлу Юльевичу Шлёцеру. Зилоти вспыхнул – и отказался от места. За внешним сюжетом проглядывал иной, подспудный. Зилоти подустал от преподавания, он тосковал по выступлениям. Потому и его «докладная записка» производит впечатление невразумительной скороговорки:

«Находя, вследствие встретившихся недоразумений, невозможным продолжать мои занятия в Консерватории, покорнейше прошу уволить меня от занимаемой мною должности. 21 Мая 1891 года.

Свободный Художник А. Зилоти»²¹.

Все ученики Александра Ильича разом повисли в воздухе. Ни один не перейдёт к Сафонову. Одни окажутся у Пабста, другие у Шлёцера. Рахманинов не пошел ни к кому из педаго-

гов, отговариваясь, что в крайнем случае начнёт брать частные уроки у своего двоюродного брата. Впрочем, он, похоже, успел побывать у Сафонова ещё до внезапного «выверта судьбы». Хотел завершить консерваторию по классу фортепиано раньше на год, в этом же году. Был не мало удивлён, что Сафонов не возражал. Хотя Василий Ильич давно уже говорил, намекая на композицию: «Я знаю, ваши интересы в другом».

На экзамене, 24 мая, Сергей получил высшую оценку. Вся комиссия, все пять человек поставили «пять с крестом». Знал ли он, что засчитать этот экзамен за выпускной предложит не кто-нибудь, а Николай Сергеевич Зверев?

Впереди был ещё самый трудный экзамен: канон и fuga. Высшее полифоническое мастерство никому не давалось просто. Даже столь одарённому, как Рахманинов. Вроде бы задания делал, и Аренский оценивал работу неплохо. Но fuga как единое целое – одна из сложнейших музыкальных форм – ускользала от мысленного взора. Антон Степанович учил на примере великих мастеров. А кто мог быть лучшим учителем, нежели Иоганн Себастьян Бах? Смотреть фуги великого полифониста, вникать... Что-то важное ускользало от учеников. Когда Антону Степановичу пришлось срочно выехать к тяжелобольному отцу, вместо него в класс пришёл Танеев. Всё дальнейшее похоже на волшебный сон. Спустя десятилетия рассказ композитора услышит его добрый знакомый, Альфред Сван:

«Танеев однажды пришёл в класс и сел не за учительский столик, а на скамью рядом с нами и сказал: “Знаете ли вы, что такое fuga и как её писать?” Единственное, что мы могли ответить, это: “Нет, Сергей Иванович, мы не знаем, что такое fuga, и не знаем, как её писать”. Он начал объяснять, и я вдруг всё понял и постиг в несколько часов».

История тонет в дымке времени, её контуры трудно различимы. Однажды Рахманинов открыл биографу, Оскару фон Риземану, как ему улыбнулось счастье:

«...Экзамен по классу фуги, бывший переводным в класс свободного сочинения, проходил в один день с экзаменом по фортепиано. Но консерватория пошла мне навстречу, и я получил разрешение сдать экзамен на день позже, так что три моих одноклассника отправились в заточение без меня. Тема фуги была чрезвычайно запутанной. Найти правильный ответ оказалось тем более трудно, что возникла неясность, была ли это fuga reale или fuga de topo. Аренский считал, что все экзаменующиеся ответили неправильно. Мне, однако, снова повезло. Возвращаясь после экзамена по фортепиано домой, я заметил, что передо мной идут Сафонов и Аренский, погружённые в ожесточённый спор. Поравнявшись с ними, я услышал, что речь идёт именно об этой фуге. Как раз в этот момент Сафонов стал насвистывать ответ, который он считал правильным. Во время экзамена на следующий день я удивил Аренского, правильно построив ответ. Результат оказался тот же, что и на экзамене по фортепиано: пятёрка с маленьким плюсом».

Музыкант, прошедший класс композиции, мог бы улыбнуться этому воспоминанию. Задача не кажется столь уж сложной. Ответ может быть «тональный» и может быть «реальный». И тот и другой будут очень похожи на саму тему. Различие между ними, в конце концов, не столь уж заметно. И всё же от выбора ответа зависит развитие всей фуги. Похоже, тема имела очень замысловатое строение. Возможно, мешало обилие хроматизмов. Рахманинов – среди лучших учеников у Аренского. Пятёрок не было, преобладали четвёрки. Но другим познание теории контрапункта давалось с куда большим трудом. И если чему и мог изумиться Антон Степанович, так это результату. Тот, кто весь год работал «неплохо», иной раз и «хорошо», сложное испытание прошёл на «отлично».

* * *

Лето 1890-го – сказка, лето 1891-го – элегия. Всё та же Ивановка, и как всё изменилось! Сёстры Скалон – лишь воспоминание, всё их семейство – за границей, здоровье Веры требо-

вало внимания европейских докторов. Семейство Сатиных – в Падах, где Александр Александрович взял на себя обязанности управляющего, а Дмитрий Ильич Зилоти – стал его помощником и кассиром. Иногда Александр Александрович заглядывал в Ивановку и привозил с собой почту. Рахманинов Пады навестит только в августе, чтобы целиком отдаться отдыху. Пока же – совсем иная жизнь.

Едва прибыв в имение, он пишет Татуше об экзаменах, об уходе Александра Ильича, о возможном переезде в Петербург – тогда он будет учиться у Антона Рубинштейна.

В Ивановке непривычно тихо. «Дорогому ментору» Рахманинов признается: «...мне тяжело было первые часы здесь, и именно потому, что я в отношении к вам, сёстрам, вовсе не переменялся и так же думаю об вас, как и прежде. Я говорю “первые часы” потому, что я здесь всего первый день живу».

Его поселили как раз в том флигеле, где прошлый год жили сёстры. Простору теперь больше – своя спальня, своя рабочая комната. Но в занятиях нет прежнего задора. Рядом – Саша, Александр Зилоти со всей своей семьёй. Александр Ильич много времени занимается на фортепиано: готовится к концертам.

Рахманинов ждёт присылки рояля. Бродит по окрестностям. Вспоминает. «...Из счастливого, и с вами вместе прожитого, лета» – фраза, мелькнувшая в одном из писем Наталье Дмитриевне, в сущности, – лейтмотив его посланий. Скоро он обнаружит, что в его тихой грусти есть своя отрада.

Погода стоит замечательная, такая же спокойная, как и его жизнь. Он много гуляет, катается на лодке. Иногда они с Зилоти гуляют вместе. Александр Ильич – единственная компания, которая оживляет его несколько меланхолическое настроение. 12 июня Рахманинову привезут наконец рояль, и он уйдёт с головой в работу.

Инструментовка Первого фортепианного концерта поглощает всё время. Перебивает его лишь приезд отца, какое-то время ушло на общение с Василием Аркадьевичем.

«Живу здесь тихо, помаленьку, спокойно, мирно, уютно» – это из письма Слонову от 18 июня.

«Наше житьё, конечно, однообразное, пожалуй, и немного скучное» – через три дня из письма Наталье Скалон.

На самом деле скучать не приходилось. Саше Зилоти пришло письмо от Чайковского. Пётр Ильич смотрел корректуру переложения «Спящей красавицы» и нашёл его довольно скверным:

«Большая была ошибка, что мы поручили эту работу мальчику, хотя и очень талантливому. Не то чтобы оно было сделано небрежно, напротив, видно, что он обдумывал каждую подробность. Но в этом переложении 2 ужасных недостатка:

1) Отсутствие смелости, мастерства, инициативы, слишком рабское подчинение авторитету композитора, вследствие чего нет силы и блеска.

2) Слишком заметно, что автор переложения в 4 руки делал его с двухручного клавираусцуга, а не с партитуры. Многих подробностей, поневоле пропущенных в клавираусцуге, но совершенно удобных и возможных для 4-х рук, – нет.

Увы, эти 2 недостатка неисправимы. До некоторой степени кое-где я пополнял и изменял, как ты увидишь, – но от этого дело мало выиграет».

«Неопытность» и «несмелость» – вот главные пороки переложения. Но Пётр Ильич не может остановиться только на плохом: «Однако справедливость требует сказать, что твой кузен всё-таки отнёсся к делу очень старательно, вследствие чего многие места вышли очень легко и удобно. Недостаёт именно смелости, инициативы, творчества!!!»

Переделка занимает время. Вместе с тем желание закончить Концерт неистребимо. В июне доделает первую часть. С 3 июля возьмётся за инструментовку второй и третьей. Работал

с пяти утра до восьми вечера. 6-го он всё завершил. Усталость была невероятная. Но в письме Слонову – уже знакомый мотив: «Во время работы я никогда не чувствую усталости (напротив, удовольствие). У меня усталость появляется только тогда, когда я чувствую и сознаю, что один из моих больших трудов, и больших работ окончен и окончена».

Детищем своим остался доволен. Первое творение, которому Рахманинов не побоится поставить номер сочинения: ор. 1.

Исправления в переложении «Спящей красавицы» продолжаются, но и собственная музыка, ещё не сочинённая, просится наружу. Энергией творчества Рахманинов начинает потихоньку заражать своих знакомых. Слонов ищет ему стихотворения, пригодные для музыки, высылает том произведений А. К. Толстого. Романс «Ты помнишь ли вечер» закончен 17 июля. В отличие от Концерта он автору не понравился. Ещё через три дня завершена прелюдия Фа мажор. Произведение не без изящества, но всё-таки несопоставимое с Концертом.

Было на удивление тихо этим летом. Нехватка общения заставляла браться за письма. В них – не только лирика воспоминаний. Здесь есть смешливость, юмор, задор.

Слонов прислал другу целое музыкальное сочинение: «Тоска по Серёже». Рахманинов усмехнулся, черкнул несколько слов о недостатках сего опуса – и не смог удержаться и от шуточек: «Извини меня, пожалуйста, что я тебе не присылаю свою тоску об тебе, мне некогда было её писать. Мы люди свои и когда-нибудь с тобой сочтёмся, а то ты мне написал свою тоску, я тебе бы написал свою тоску, потом ты бы прислал мне свою радость, по случаю получения моей тоски, потом я бы тебе прислал и т. д., и пачкали бы мы с тобой нотную бумагу без меры. А между прочим, один, очень умный портной говорил всегда, что: “всё в меру”, и при этом ударял аршином по голове свою жену».

Сюжетный поворот с «аршином» совершенно чеховский. Радость от завершённого Концерта пока не заглушили неудачи. Татуше пишет, как обычно, с трепетом. Но и тут, припомнив её интерес к Дмитрию Ильичу, начинает поддразнивать, дописываясь до фантазмагии:

«До его приезда была у нас скверная погода, но она исправилась – потому что Митя приехал. Все тучи разошлись, и стало видно чистейшее голубое небо. Стало много светлей. Что только с солнцем приключилось. До его приезда был холод – мы ходили в шубах и одеялах, на ночь покрывались одеялами и шубами, и вдруг... солнце вышло из-за туч, стало греть невыносимо; жара дошла до 50 градусов. Я кинул своё одеяло и шубу куда попало, так что и теперь не знаю, где они. Наш лакей Евгений вот уже второй день их ищет, но никак не может найти ни одеяла, ни шубы».

Сюжетец из области тех небывальщин, которые соприкасаются с народной смеховой культурой. В произведениях Рахманинова трудно найти отзвуки «скоморошества». Лишь в самом последнем произведении композитора – в зловещем искажении – пробежит эхо от этого шутейства. И всё же поэзию небылиц, рассказней он чувствовал. Не потому ли спустя десятилетия в своём издательстве «Таир» опубликует не только партитуры и книги о музыке, но и книги словесного затейника Алексея Ремизова?

Лето в Ивановке 1890-го пробудило в юном студенте консерватории композитора. Лето 1891-го – первое настоящее сочинение. Он мог быть доволен «ивановским сидением», но под конец отпуска выкупался в реке и свалился от непонятной болезни. Врачи заподозрили брюшной тиф. Он так исхудал, что доктор присоветовал принимать коньяк. 20 августа Ивановку покинул Александр Зилоти. Рахманинов задержался на несколько дней, чтобы прийти в себя. На обратной дороге навестил в Знаменском свою бабушку, Варвару Васильевну Рахманинову. В Москве – снова слёг.

* * *

Его трепала малярия, или – как говаривали в те времена – возвратная лихорадка. Утром просыпался почти здоровый, вечером – не стоял на ногах. Поднимался жар, лихоманка была так, что казалось, ты при смерти. От Сатиных Рахманинов съехал, снимал квартиру на пару со Слоновым, пытался жить самостоятельно. Миша Слонов – единственный, кому он не стеснялся показывать свои опусы. И вот – «Гармонизация на бурлацкую песню», «Романс» для исполнения на фортепиано в шесть рук, первая часть симфонии²², – и рядом письмо Слонова Наталье Скалон от 22 сентября: «Он болен вот уже целых полтора месяца: у него возвратная лихорадка. Она его трясёт три дня и два даёт отдыхать...»

Поначалу Рахманинов ещё мог выступать. 17 октября в консерватории вместе с Иосифом Левиным он исполнил свою «Русскую рапсодию», ту, что сочинил в начале года. Но с недугом совладать не мог. Настанет день, он не поднимется с кровати, и Юрий Сахновский, другой приятель по консерватории, перевезёт Рахманинова к себе. В купеческом доме у Тверской Заставы больной лежал в забытии. Доктор, вызванный Зилоти, поставил неутешительный диагноз: воспаление мозга. На вопрос – «выздоровеет ли?» – дать ответ затруднялся. И всё же на рукописи симфонической поэмы «Князь Ростислав» по мотивам стихотворения Алексея Толстого поставлена дата: «9–15 декабря 1891». Рядом – не менее важные слова: «Посвящает дорогому своему профессору Ант. Ст. Аренскому автор».

После тяжёлой болезни стало трудно сочинять. Раньше писал музыку – как дышал. Теперь звуковое дыхание его покинуло. Он всё же подошёл к Аренскому: нельзя ли окончить класс свободного сочинения за год, а не за два? Антон Степанович согласие дал. Правда, поставил условие: написать несколько сочинений.

Узнав о такой поблажке, к Аренскому подступил и Скрябин. В этом году тот заканчивал как пианист – нельзя ли и ему завершить консерваторию и по классу свободного сочинения?

Пройдёт полжизни, и Рахманинов поведает друзьям: «Аренский не выносил Скрябина и сказал: “Ни в коем случае я вам этого не позволю”». Биографу тогда же скажет, будто покачивая головой: «Так получилось, что один из самых выдающихся композиторов России остался без композиторского диплома».

* * *

Утратил лёгкость в композиции... Но с начала 1892-го должен сочинять и сочинять. «Элегическое трио» соль минор для фортепиано, скрипки и виолончели Рахманинов написал за несколько дней. В конце января с Д. С. Крейнном и А. А. Брандуковым в концерте исполнил не только его, но сыграл ещё и Шопена, Чайковского, Листа, Годара, несколько сочинений для виолончели и фортепиано Брандукова и... собственную прелюдию для этих же инструментов из опуса 2-го. Появятся и романсы – не потому только, что «отрабатывал» Аренскому своё право досрочно окончить консерваторию. В студенте, сочинявшем музыку, родился подлинный композитор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.